

НИКОЛАЙ
ПОЛЕВОЙ
ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И
ПИСЬМА

Николай Алексеевич Полевой

Живописец

Николай Алексеевич Полевой (1796–1846) — критик, теоретик романтизма, прозаик, историк, издатель журнала "Московский телеграф" (1825–1834).

Настоящее издание включает в себя наиболее значительные и известные художественные произведения русского журналиста, писателя и историка Н. А. Полевого (1796—1846): «Повесть о Симеоне, Суздальском князе», цикл романтических повестей, объединенных автором под названием «Мечты и жизнь», и повесть «Дурочка». Раздел писем знакомит читателя с литературным и дружеским окружением Полевого. Большинство произведений и писем публикуется в советское время впервые.

Содержание

#1	0005
ЖИВОПИСЕЦ	0005
I	0006
II	0069
III	0131
IV	0189
ПРИМЕЧАНИЯ	0255



ЖИВОПИСЕЦ

*Ich kenn ihn lang, er ist so leicht zu kennen
Und ist zu stolz, sich zu verbergen. Bald
Versinkt er in sich selbst, als ware ganz
Die Welt in seinem Busen, er sich ganz
In seiner Welt genug, und alles rings
Umher verschwindet ihm. Er laßt es gehn,
Lafit's fallen, stoßt's hinweg und ruht in
sich —*

*Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke
Die Mine zündet, sei es Freude, Leid,
Zorn oder Grille, heftig bricht er aus:
Dann will er alles fassen, alles halten,
Dann soll geschehn, was er sich denken
mag,
In einem Augenblicke soll entstehn,
Was jahrelang bereitet werden sollte,
In einem Augenblick gehoben sein,
Was Mflne kaum in Jahren lösen konnte.
Er fordert das Unmögliche von sich,
Damit er es von andern fordern dürfte.
Die letzten Enden aller Dinge will
Sein Geist zusammenfassen; das gelingt
Kaum einem unter Millionen Menschen,
Und er ist nicht der Mann: er fällt zuletzt,
Urn nichts gebessert, in sich selbst
zuriick...*

I

*Я жизни сей не раб презренный:
Я проводник того огня,
Который движет всей вселенной
И с неба льется на меня!
Вельтман*

...Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсиею и большим семейством, довольный тихим своим жребием. Из детей его два сына служили в нашем городе и считались деловыми и честными чиновниками; один из них был уже сам отец семейства. В губернских городах обыкновенно все знакомы между собою, и почти никто не дружен. Я уважал нашего старого казначея; в праздники мы платили друг другу визиты; иногда и в будни бывал я у него, а он у меня. Тем ограничивались все наши отно-

шения. Мы обыкновенно и всего чаще гово-
ривали о погоде, о новостях. Старик любил
читать газеты, пить чай в дружеском кругу,
любил выкурить трубку табаку и потолко-
вать о переменах министров и государствен-
ных чиновников. Он служил некогда при гра-
фе Безбородко: это было бесконечным пред-
метом для его рассказов. В течение тридцати-
летней жизни и службы в провинции старик
не мог отвыкнуть от всегдашней поговорки
своей: "У нас в Петербурге — у нашего графа
Александра Андреевича..." "Мы петербург-
ские", — прибавлял он с особенным удоволь-
ствием.

— Я зашел к вам на минутку, — сказал он
мне, — и нимало не задержу вас.

— Всегда рад вам сердечно.

— Рады, я уверен; но при отъезде бывает
много хлопот — не буду мешать и расскажу
коротко, в чем дело: сделайте мне большое
должение, если только это не отяготит вас.

— Прошу вас только сказать мне.

— Все дело, изволите видеть, в том, что вот
письмо к младшему сыну моему, живущему в
С<анкт>-Петербурге.

— Я и не знал, что у вас сын служит в Петербурге.

— Ах! если бы служил, я и не утруждал бы вас. А то, бог знает, как вам и сказать...

— Разве вы им недовольны... если только этот вопрос не нескромность с моей стороны.

— Помилуйте! Любя и уважая вас как человека солидного и степенного, я именно вас хотел просить, чтобы вы узнали в Петербурге поподробнее о моем сыне. В прошлом году я просил было об этом нашего почтенного г-на прокурора, когда он ездил в Петербург; но ему было некогда. Он послал письмо мое с своим человеком и велел сынишку моему прийти к себе, а тот не пришел. Ныне ездил в Петербург почтеннейший г-н почтмейстер, но забыл письмо мое дома, не знал адреса и не видал моего сына. Впрочем, всякий едет в Петербург с своими хлопотами. Ведь у нас в Петербурге бездельников нет. Если уже кому-нибудь и в самом деле нечего делать, — ну, так по крайней мере показывает, что будто делает что-нибудь. А с этим соображается всякий, кто приезжает в Петербург.

Признаюсь, как ни уважал я старого казна-

чая, но поручение его было мне неприятно. Я думал, что он заставит меня искать по Петербургу какого-нибудь молодого повесу, отставного корнета или коллежского секретаря, шалуна, препоручит мне усовещивать его, приводить на путь правый...

Может быть, старик заметил неприятное выражение на лице моем. Он было опустил уже руку в карман свой, чтобы вынуть письмо, и вдруг остановился.

— Впрочем, если вам некогда будет заняться моею просьбою, — сказал он, — то будьте только откровенны, я не обременю вас...

— О, нет, нет! — отвечал я. — Пожалуйста мне ваше письмо. Вы знаете, что я должен прожить в Петербурге долго, и времени свободного будет у меня немало.

— Ах, сударь! не будучи сами отцом, вы не можете судить о чувстве родительского сердца, когда отец ничего не знает об участи своего сына! — Слезы навернулись на глазах старика. — Двое детей со мною, и, нечего сказать, — утеха моя на старости, кормильцы моей дряхлости; а ведь я сам чувствую, что люблю моего ветреника петербургского более

их... — Старик вынул из кармана клетчатый бумажный платок и утер глаза. — Вот уже более года от него нет даже писем!

Мне стало совестно. Мгновенный порыв эгоизма рассеялся, когда я увидел отца, плачущего о милom, может быть, погибшем сыне.

— Пожалуйте мне ваше письмо, — сказал я с жаром, — и верьте, что вы получите от меня верные сведения о сыне вашем. Если я могу чем-нибудь быть ему полезным, то готов употребить все силы.

— Благодарю вас. Вы утешаете меня словами вашими. Но я прошу только одного: откровенности вашей. Повидайтесь с сыном моим, поговорите с ним, наблюдайте за ним и потом скажите мне без закрывки и добро и худо. Но помощи вашей никакой не надобно. Я знаю моего ветреника: он будет умирать с голода, а пособия не примет ни от кого; при всем добром сердце своем он не послушается ничьих советов. Если бы только знал я, что ему есть нужда, то последнее послал бы к нему. Но это будет бесполезно: он отошлет назад. Да я же и не ведаю: где он и что он!

— Вы изумляете меня. Если он так благоуро-

ден и горд, то почему же вы беспокоитесь о нем? Из первых слов ваших можно б было заключить, что сын ваш какой-нибудь шалун...

— О нет, сударь, но... — Старик вздохнул. — Боюсь, что ему худо жить на белом свете! У нас в Петербурге не житье людям, подобным Аркадию моему...

— Но для чего же вы отправили его в Петербург?

— Его вырвали у меня — он сам вырвался у меня! Бог судья покойнику, его превосходительству Григорью Григорьевичу: сбил с толку моего сынишка и меня!

— Стало быть, сын ваш уже давно находится в Петербурге? Григорий Григорьевич был у нас губернатором лет десять тому.

— Нет! Пятнадцать минет о Петрове дне, как он уехал, и вот уже пять лет, как он изволил скончаться. Можно ли было не послушаться! Мы с его превосходительство были, изволите видеть, сослуживцы и вместе служили у нашего графа. Ему повезло: умен был; я не пошел в гору: уехал сюда, женился. Но когда потом его превосходительство изволил приехать к нам губернатором, — ведь не за-

был, сударь, он старого сослуживца! Бывало, всегда так ко мне милостив: всегда изволит говорить со мною, когда приедем, бывало, к нему в большой праздник. Да, сударь, дай бог ему царство небесное! не гордился он со мною! И г-н вице-губернатор стоит да щиплет плюмажик, и г-н прокурор руки по швам, а меня за руку и начнет: "Что, брат Иван Перфильевич? Как поживаешь? Ну, что у тебя в казначействе? Не развелось ли много крыс?" Зависти-то сколько было, когда он взял к себе моего Аркадия! А вот люди не знают, чему завидуют!

— Но, вероятно, Григорий Григорьевич видел необыкновенные способности вашего сына и хотел доставить ему хорошее место?

— Да ведь он и не думал определить его в службу.

— Как? Что это значит? Для чего же он взял его с собою?

— И сам растолковать вам хорошенько не умею! У моего Аркадия совсем не было отличных способностей, грамоте учился он плохо, нрава с малолетства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса... Одно..

только и было его любимое занятие: писать картинки. Славно писал он их, нигде не учась: сам, сударь, выучился! Бог открыл ему дарование. Его превосходительство полюбил Аркадия; сначала только призывал его к себе, потом он по неделе проживал у него иногда на даче, а наконец всегда бывал с ним, прогуливаются, бывало, вместе по лесам, по полям. Я не узнавал моего Аркадия: он сделался тихий, смирный такой. Наконец его превосходительство потребовал у меня Аркадия с собою, когда изволил быть переведенным в Петербург. Я было сначала не соглашался. Как теперь помню, призвал меня к себе его превосходительство; Аркадий стоит печальный у окна, а его превосходительство, в первый раз, начал со мной говорить не шутя и так, как никогда еще не говаривал. Я ничего из слов его не понимал. "Может быть, сын твой переживет тебя, и меня, и весь твой город, и век наш! — говорил он. — Ты хочешь сделать из него подьячего и не понимаешь божественной силы, какая заключена в душе его!" Ну, и прочее, и прочее, что я со страха едва расслушал. Глаза его превосходительства были

страшны. Я видел, что он рассержен, — нечего сказать — испугался! Аркадий уехал с ним и поселился в Петербурге. Право, уж не умею сказать, чему он все это время учился. Да вот, сударь, что значат людские намерения! Его превосходительство сказал мне, что обеспечит будущую судьбу моего сына, а это были только пустые слова. Его превосходительство скоропостижно скончался. Я знаю, что Аркадий был его другом и любимцем до самой смерти, что Григорий Григорьевич определил его в Главное училище живописи. Но как бы это ни было, а его превосходительство ничего не оставил моему сыну. Я писал к Аркадию об этом, и, позвольте, — вот со мною ответ Аркадия. Посудите, что мне с ним делать?

Слова старика возбуждали во мне сильное любопытство. Я взял письмо. Оно было написано связным, но смелым округлым почерком и прямо набело, ибо несколько помарок показывали, что его не приготавливали на досуге, что оно вылилось на бумагу прямо из сердца. Вот оно, слово в слово; я выпросил его у старика:

"Последнее письмо ваше, любезный роди-

тель, опечалило меня, а приписка братьев еще более. Простите, если буду с вами откровенен. Вы изволите спрашивать, почему, уведомляя вас о моем несчастии, кончине моего благодетеля, я ничего не сказал о том, исполнил ли он свое слово и наградил ли меня чем-нибудь в своей духовной? К этому присовокупяете вы сожаление и поставляете бога судьей, если благодетель мой не исполнил данного вам слова. Слова ваши растерзали мое сердце. Если бы вы не были моим отцом, отцом всегда для меня незабвенным, обожаемым мною, я ничего не отвечал бы вам, и — клянусь богом — не только никогда не писал бы я к вам более, но никогда и не встретился бы с человеком, написавшим мне письмо, подобное вашему! На коленях прошу прощения вашего, если слова мои покажутся вам дерзки. Но я со слезами молю бога простить несправедливый ропот ваш и то оскорбление, какое нанесли вы ропотом вашим священной для меня тени моего благодетеля! Правда, он мне не оставил ничего по духовной, если это угодно вам знать, — ничего потому, что не думал о своей духовной. Кончина его была

неожиданная. Но неужели тогда только был бы он моим истинным благодетелем, когда дал бы мне кусок насущного хлеба? Неужели только деньгами мог он оказать мне благодеяния? Не знаю, чем не обязан я ему; не знаю, что был бы я, если бы провидение не привело меня при начале жизни моей к этому спасителю, ангелу-хранителю моему! Если я еще живу, если я чувствую бытие мое, всем этим ему одному я обязан — ему и никому более! Еще раз простите мне, любезный родитель! Пишу, что сказывает мне сердце мое; не смею перечитать написанного, но не в силах писать к вам иначе. Может быть, мы не пойдем друг друга, но я знаю добродетельную душу вашу, знаю ваше чистое, святое сердце, и к ним отношусь я. Прошу вас обо мне не беспокоиться. Руки и голова у меня здоровы, и я не умру с голода. И в этом случае невольно обращаюсь я к приписке братьев моих. Им угодно пенять, что я не пишу к ним ничего о своих обстоятельствах, что я делаю и где я нахожусь. Им угодно осуждать меня в какой-то беспечности, в какой-то ветрености. Желая им счастья и только одно напомним: просил

ли я у них хотя какого-нибудь пособия с тех пор, как расстался с ними? Смею уверить их, что никогда и вперед в тягость им не буду. Горек хлеб чужой, но от родного, который напоминает нам, что нас кормит, — это не полынь, а яд! Правда, что доньше я еще не мог быть полезным вам, любезный родитель: это сокрушает меня, и одно из пламенных желаний моих есть то, чтобы бог привел меня некогда успокоить старость вашу. Братья мои обладают уже этим счастьем, и неужели не понимают они цены его? Осмеливаюсь думать и надеяться, что бог пособит мне некогда быть вам полезным — может быть, более их. До тех пор желаю, чтобы другие дети ваши превзошли меня в горячей молитве, какую воссылаю я к богу за вашу драгоценную жизнь, в любви и почтении, какими преисполнена к вам душа моя".

— Ну вот, сударь, такие-то письма присылал всегда ко мне мой Аркадий! Что прикажете мне думать о нем и что с ним делать?

— Ничего, почтенный человек, ничего! Можете быть уверены, что ваш Аркадий есть чистая, светлая душа...

— О душе-то я и не спорю; да голова-то у него... — Старик провел указательным пальцем по голове своей. — И вот уже прошло с год, как я вам докладывал, он вовсе ко мне не пишет. Притом чистая душа не помешает быть ветреником и умереть с голода, если мы будем только, знаете, летать по поднебесью и забывать о земле. Боюсь, сударь, я: не скрывают ли чего-нибудь от меня? Жив ли он? Не знаю и того, что теперь делает он в Петербурге? В последнем письме писал он, что хочет ехать за границу и поедет на счет Главного училища живописи... Об этаких людях говаривал наш граф Александр Андреевич...

— Успокойтесь: верьте, что я увижусь с сыном вашим и обо всем вас уведомя, — возразил я с невольным чувством. — Но на письме вашем нет адреса?

Старик опустил голову, помолчал и сказал потом печально:

— Я не знаю, где теперь живет мой Аркадий! С тех пор, как его выключили из Главного училища живописи...

— Выключили! Давно ли?

— Да будет с полгода, сударь, как говорил

мне об этом один проезжавший здесь чиновник, который знает всех главных учителей в училище живописи, — выключили за ссоры, за беспокойный характер! Вот видите, что все это должно тревожить меня как отца, нежно любящего! Ах, ради бога, сударь! Вы не сделаете так, как г-н прокурор и г-н почтмейстер наш! Узнать об Аркадии всего вернее можно в доме г-на N. N., человека почтенного, коллежского советника и кавалера, моего старого сослуживца, к которому всегда ходит Аркадий.

Мы расстались. Разговор с старым казначеем растрогал меня. Мне нетерпеливо захотелось узнать его странного сына, в котором я не мог дать сам себе отчета. Признаюсь: молодой человек, бывший любимцем умного и добродетельного чудака, несколько времени находившегося губернатором в нашем городе, и писавший после смерти его письмо, читанное мною, не мог быть ничтожным ветреником или шалуном, не отличенным каким-нибудь высоким дарованием. Но если, по русскому обычаю, он как художник подвергался какой-нибудь несчастной слабости или даро-

вания его затмевались примесью чего-либо недостойного высоких дарований? Если он был нечто недоконченное, с душою великою, но лишенною средств достигнуть своего назначения, — создание малодушное, робкое, безрассудное? Словом, мне, по крайней мере, весьма любопытно было узнать Аркадия.

"Только любопытно?" — скажете вы. Что ж делать! В мои годы перестают уже любить психологические странности, любить только за то одно, что они странны. Это чувство проходит с годами. Невольно делаешься эгоистом в сорок лет, отдружившись, отлюбивши на свой участок. Притом жизнь в провинции бывает такая положительная и приводит в такое оцепенение чувства души... Общее поверье, что в сорок лет надобно быть степенным и солидным, как называл меня старый казначей и каким я почитал себя, — все это холодило мое участие и превращало его — признаюсь — только в простое любопытство, но сильное и живое.

Дня через два по приезде моем в Петербург я увидел, что мне придется долго, год или более, прожить в Северной Пальмире. (Так на-

зывают Петербург, хотя не понимаю почему, ибо пески Сирии столько же не походят на борта Ингерманландии, сколько развалины Пальмиры на великолепный Петербург.) Мысль об Аркадии мелькнула в голове моей. Воспоминание о разговоре с его отцом и письме, читанном мною, во всю дорогу не оставляло меня. Прежде всего отправился я к г-ну N. N.

На пороге небольшого опрятного дома в грязной Колокольной улице встретился со мною человек, сухощавый, в вицмундире, с Аннинским крестом на шее, с Владимирским в петлице. Спрашиваю у него о г-не N. N.

— Это я сам, — отвечал мне незнакомец. — Что вам угодно?

— Я желал бы узнать, милостивый государь, где живет некто Аркадий...

Лицо г-на N. N. покосилось.

— Этого я не могу сказать, милостивый государь, — угрюмо проворчал г-н N. N.

— Но мне говорил отец его, что вы с ним хорошо знакомы.

— Отец его говорил вам несправедливо, милостивый государь. — Я, точно, позволял

этому молодому человеку посещать дом мой, и Аркадий, точно, бывал у меня прежде, но уже более года я с ним не вижусь. — Г-н N. N. приподнял шляпу и хотел идти.

— По крайней мере, позвольте мне узнать об этом молодом человеке.

— Извините, я спешу к должности и мне некогда. Спросите о нем в Главном училище живописи. — Г-н N. N. сухо поклонился и ушел.

"Начало плохое", — подумал я. Отзыв его об Аркадии не рекомендует молодого человека. Мы так привыкли к рекомендации, этому адресному билету общества, что прежде всего по ней начинаем судить о человеке, не думая, кто подписал его адресный билет. Итак, Аркадий, верно, какой-нибудь ветреник и шалун? "Но этой ли сухой роже поверю я, хотя она принадлежит коллежскому советнику и кавалеру! Знаю я вас, господа!" — сказал я, с досадою стуча в камни мостовой моею палкой. Странное дело: свидание с г-м N. N., напротив, усилило желание мое узнать Аркадия! "Но где искать его?" — подумал я и послал служителя спрашивать в Главном училище живописи.

Он не добился толку. Старый учитель тамошний качал головою, слыша вопросы об Аркадии. Он начал спрашивать служителя обо мне, узнал, что я приезжий помещик, и проч., и проч.

— На что же твоему барину этого молодца? — спросил он наконец. — Если заказать портрет, так вот тебе, братец, лучше адрес моего отличного ученика Чистомазова.

— Нет, сударь, не портрет заказать, а есть у барина к г-ну Аркадию письма от отца его.

— От отца? Ну, не порадуется твой барин новому знакомству! Не знаю, братец, не знаю, где он живет. Да и никто этого у нас не знает. Он переменяет по три квартиры в год, а иногда и более.

По обыкновению русских слуг мой служитель передал мне разговор слово в слово, с прибавлением "дескать" и "мол". "Плохо! — подумал я. — И тут его не любят!" В тот же день отправился я в Эрмитаж. Вдруг мне пришло там в голову спросить об Аркадии у одного старика-живописца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Ка-

налетти.

— Вот, сударь, в десятый раз списываю эту картину, — сказал мне старик, когда я начал с ним разговор об его работе, — в десятый!

— Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство, судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее?

— О нет! — в замешательстве отвечал старик. — Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины и две или три копии сделал с нее, в самом деле, совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка.

— Как это?

— А вот видите — не прикажете ли табачку? — Он открыл свою золотую табакерку. — Славный художник, известный наш декоратёр Бестнаго, говаривал: "Злава злавой; а теньга, теньгой!" Просто делаю, сударь, я эту копию наскоро, для любителя одного, которому все равно, худо ли, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите: я прославился копиями с Каналетти,

и мне их всегда заказывают. А между тем, этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего!

Молодой ученик покраснел и отворотился. Старик не замечал этого и продолжал:

— Я, сударь, верю тому, что было напечатано некогда в "Пантеоне иностранной словесности", именно словам великого Бюффона: гений есть терпение в высочайшей степени. Истинно так! И это стараюсь я внушить ученикам своим. Про меня самого говаривали смолода, что будто у меня вовсе нет дарования. Но я, сударь, дарование свое высидел, как курица цыпленка.

— Вы, конечно, член Главного училища живописи?

— К вашим услугам: я там старший учитель по пейзажной живописи. У нас ведь все разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает.

— Не был ли у вас учеником Аркадий...?

— Воспитанник покойного генерала ***?

Как же, сударь, был!

— Скажите, где он теперь? Мне любопытно

знать о нем.

— Вот уж этого порядком сказать вам не могу. Он лет с пять, думаю, как вовсе перестал учиться у нас. При сильном покровительстве своего генерала и прежде почти всегда находился он в отпуску и только числился при училище.

— Я слышал, что недавно его совсем выключили?

— Нет! Он самовольно вышел, а потому аттестата и звания от нас не получил. Вы его знали?

— Нет!

— О, сударь, залетная голова! мальчик не дурак! То есть, я вам скажу, если б этот человек был поумнее, так из него вышел бы второй Лосенко в русской живописи. Но он сбился с толку, и мы, признаться, чтобы его опасный пример не испортил других, старались понемногу выживать его.

— А не потому, чтобы у него дарования не было?

— Нет! Дарование у него было бы, потому что дарование развивается, милостивый государь, наукою, и собственно наука у нашей

братьи художников есть истинное дарование. Живописца тогда узнаете, будет ли он хороший живописец, когда он кончил курс живописи. Вот, например, и в стихотворстве: как узнать дарование, если стихотворец не выучился стихи писать и хоть чего-нибудь не написал — поэмы, что ли, ну, или там трагедии какой, или комедии.

— Из слов ваших можно заметить, что Аркадий, если и имеет дарования, то характер у него дурной.

— Престранный, сударь, у него характер — ни добрый, ни худой. Он скромн, но упрямец, тихий, но пребешеный! Никогда, бывало, ссоры не заводит, а участник во всякой ссоре. Молчалив, а заговорит, так заслушаетесь. То вдруг учится прилежно, первый — и досадует; то совсем не учится, последний — и радехонек! Главное, я полагаю, он был в дурных руках, у этого генерала ***, который избаловал, испортил молодого человека. Этот генерал *** был, сударь, умница, но чудак великий...

Тут какая-то толстая фигура перервала наш разговор. Старик пошел с нею по зале и начал разговаривать заботливо. Ученик его

бросил кисть, оборотился ко мне и сказал:

— Ах, сударь! Если вы не знаете Аркадия, не слушайте, что говорят о нем! Аркадий пример доброты, ума и дарования! Мог ли он ужиться с людьми, которых образчик вы сейчас видели!

Глаза ученика сверкали. Боясь ободрить этого молодого человека в негодовании, которое столь неосторожно изъяснял он против учителей человеку неизвестному, я сказал ему хладнокровно:

— Хвалю, что вы заступаетесь за Аркадия, но не советую никогда соединять с этим нескромности насчет ваших учителей и наставников.

Бедный молодой человек испугался.

— Ах, сударь, — сказал он робко, — не подумайте, чтобы я хотел осуждать моего почтенного наставника; но зачем же он сам несправедлив к такому человеку, каков Аркадий? Это самая высокая добродетель, это божественное дарование...

— Вы знакомы с ним?

— Нет! Несмотря на ласковость Аркадия, я не смею ходить к нему, боясь рассердить мо-

его учителя. Он мне строго запрещает; но я знаю, где живет он.

— Скажите же мне.

Я поспешно записал адрес Аркадия; старик учитель подходил к нам; ученик схватил кисть и начал работать прилежно. Старик казался рассерженным.

— Вот, брат Ваня! Мы с тобою и в дураках, — сказал он, как будто забывши, что я тут находился, — в чистых дураках! Этого проклятого Каналетти мы с тобою мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказе: ведь ему отдали скопировать для графа "Капуцинский монастырь" Гранета!

С досадой ударил старик по своей табакерке. Я ушел. К Аркадию влекло меня теперь не одно любопытство — эгоизм мой уступил место участию.

На- другой день явился я в квартире Аркадия. Он жил тогда на Мойке, в третьем этаже огромного дома. Звоню, мне отворяет двери старик слуга.

— У себя ли Аркадий Иванович? — спросил я старика.

— Нет; он ушел со двора, — отвечал мне

старик.

— Очень жалею. Когда могу я застать его дома?

— Бог знает, сударь. Иногда он по целым неделям бывает дома, но никого не принимает, а иногда по целым неделям его нет дома с утра до вечера. Если вам угодно сказать ваше имя, так я доложу ему, когда вы изволите пожаловать.

— Скажи ему, любезный друг, что приходил Мамаев, приезжий из города N. N., и приносил к нему письмо от его батюшки.

— Как, сударь? — вскричал с радостью старик. — Вы приехали из N. N.? Как же обрадуется Аркадий Иванович! Он так давно не получал писем от своего батюшки! Ах, сударь! пожалуйста завтра! Я ему скажу, и он верно будет ждать вас. Или не прикажете ли записать, где вы остановились? Он тотчас явится к вам.

— Не нужно. Вот письмо; ты можешь отдать его своему барину, а я завтра приду сам непременно.

— Ах, сударь! как вы его обрадуете! — продолжал словоохотный старик. — Здоров ли Иван Перфильевич?

Я видел, что старик нарочно заводит речи, желая разговориться со мною. Я не люблю разговоров со слугами и особливо выведываний у слуг. Но теперь я не боялся узнать что-нибудь худое об Аркадии и поддерживал речь со стариком. Старик смотрел таким честным, добрым, он с таким восторгом упоминал о своем господине.

— Скажи, любезный, что я крайне сожалею, не заставши Аркадия Ивановича, и очень желаю с ним короче познакомиться.

— Это не так бы легко было сделать, — сказал старик, улыбаясь, — если бы вы не приехали из N. N. и не привезли письма от батюшки его. Барин мой небольшой охотник до гостей, если только они не заказывают ему работы.

— Вероятно, он очень занят?

— Да, — сказал старик, — он, сударь, теперь беспрестанно портреты списывает, а картинами не занимается, хотя прежде был большой охотник и только их и писал. — Тут как будто нечаянная мысль мелькнула в голове его. — Пожалуйте сюда, сударь, посмотрите: вот его рабочая комната. Не угодно ли

вам взглянуть, как славно пишет Аркадий Иванович? — сказал старик.

Мне уже так хотелось поближе узнать Аркадия, что я решился взглянуть на занятия его.

Из передней мы вошли в комнату, где стоял длинный турецкий диван, покрытый старым ситцем; дорогой стол красного дерева придвинут был к этому дивану; полдюжины дрянных стульев, в углу богатые старинные вольтеровские кресла и этот стол составляли странные противоположности. В другом углу находилось еще дорогое старинное бюро. Я оглядывался кругом.

— Это, сударь, у нас гостиная, — сказал старик горделиво. — Это бюро, эти кресла и этот стол выпросил себе Аркадий Иванович от наследников покойного моего барина, его высокопревосходительства Григория Григорьевича. В этих креслах старый барин всегда изволил кушать кофе после обеда, а на этом бюро он писывал. Слезы навернулись на глазах старика.

— Да, сударь, много добрых дел было придумано за этим бюро... Аркадий Иванович го-

ворит мне всегда: "Семен Иваныч, — он, сударь, так меня называет, — кто напишет на этом бюро хоть одну строчку и не сделается добр, того бог накажет!" А в этих креслах Аркадий Иванович сидит, когда ему грустно.

— Разве ему бывает и грустно иногда?

— Случается, сударь: человек бо есть.

— Ты доволен ли им?

Старик с удивлением посмотрел на меня, как будто говоря: можно ли об этом спрашивать?

— Он вырос на моих глазах, у старого моего барина, сударь, — отвечал старик, — и я не хотел с ним расстаться, хоть я и вольный человек. Вот, пожалуйста сюда, — сказал он, отворяя дверь направо.

Я вошел в большую комнату. Тут на стенах висело множество эстампов без рам, запыленных, измаранных; на полу разбросаны были свертки бумаг, палитры, книги; на большом столе лежало несколько дорогих собраний эстампов. На окошках стояло несколько прелестных горшков с цветами. Окно, подле которого работал Аркадий, было закрыто дорогим транспарантом. На пюпитре его лежал

портрет немолодой женщины, глупого вида, почти отделанный; сначала я не рассмотрел ее головного убора и удивился, взглядевшись: это были ослиные уши!

— Вот, сударь, портрет генеральши А. А., — сказал мне старик. — Говорят, что он очень похож, и генеральша от него в восторге.

— Я не вижу других работ твоего господина, — сказал я старику.

— А вот их целая куча, — отвечал он, указывая в угол, на множество холстин, натянутых на рамы, большие и маленькие, сброшенные беспорядочно одна на другую. — Он многое начал и ничего еще не успевает окончить. Вот еще несколько портретов; вот его эскизы и картоны. — Старик указал на несколько огромных картонов.

Я мимоходом взглянул на все и обратил внимание на большую картину, тщательно закрытую белым полотном.

— Что это? — спросил я старика.

— Картина, которую Аркадий Иванович не велит мне трогать. Я не смею показать ее вам. А вот, сударь, взгляните, какая жалость! — Старик указал на другую большую картину.

Это была огромная холстина в золотых рамах, изрезанная ножом и покрашенная красками так, что нельзя было рассмотреть, что было на ней прежде изображено. — Аркадий Иванович года два писал ее, кончил, целую неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и потом сам изрезал ее ножом.

Что сказать мне вообще о мастерской Аркадия? Я видел какое-то странное смешение высокого искусства, шалостей художника, роскоши, беспорядка. Тут стояло несколько золотых богатых рам, без картин; здесь было брошено несколько книг, одна на другую, полузакрытых, в пыли; загнутые листы и заметки показывали, что их читали внимательно и потом бросили, не окончив чтения. Колоссальное изображение Кельнского собора (известный эстамп) висело на стене. Подле него был портрет Дюрера, потом Мюллеров эстамп Рафаэлевой Мадонны, перечеркнутый красным карандашом. Внизу было подписано рукою Аркадия: "Ты был достоин сумасшествия, бедный пачкун! Одинакое вдохновение не является в мире дважды. Твори свое!" Стены все были исписаны углем и мелом. В этих очер-

ках видно было фантастическое своеволие. Это были изображения готических зданий, жоаннотовских уродов, гогартевских карикатур. Но меня поразило милое женское личико, которое только что было начато в небольшом размере. И вот что было странно: это личико повторялось несколько раз, в разных размерах и везде только что очеркнутое! Оно было начерчено углем на стене в нескольких местах, нарисовано карандашом на картонах, даже нацарапано ножом на столе. Видно было, что это личико невольно являлось под рукою Аркадия, что оно преследовало его — и везде было оно очеркнуто так отчетисто, верно, истинно, что я узнал бы это личико из тысячи.

Я не смел ничего рассматривать подробно. Мне казалось святотатством перебирать картины, поднимать с них занавески или пересматривать картоны и эскизы художника, когда он сам не дал мне на это права. Мне даже стало совестно, что, пользуясь слабостью и усердием старика слуги, я вошел в мастерскую Аркадия. Поспешно вышел я из этой комнаты и торопился уйти, говоря только "да,

да", когда слуга шел за мною и повторял просьбы пожаловать завтра и уверения, что Аркадий Иванович будет мне очень рад.

Кто из нас не бывал молод; следовательно, кто не читывал романов, кто сам не бывал героем романа! Всякому свое; иной бывает героем романа Поль-де-Кокова, иной лафонтеновского, иной дюканжевского, иной бальзаковского, иной жаненовского — а все-таки какого-нибудь романа! Идя от Аркадия и соображая все виденное и слышанное мною, мне казалось, что я начал читать Гофманова "Кота Мура". Воображение живо представило мне в неизвестном Аркадии образ художника, провидением к тому назначенного. Мне подумалось даже, что без знакомства с Аркадием в романе жизни моей недоставало бы весьма любопытной главы под названием "Идеал художника". Не знаю с чего, мне казалось, что в Аркадии увижу я дополнение к человеку, которое мы называем — художник, дополнение, созданное самим человеком, странное, очаровательное, своенравное, блестящее, недовольное собою, нетерпимое или обожаемое другими, рожденное от соединения необыкновен-

ных случайностей. То, что узнал я об Аркадии от отца его, от слуги, от учителей Главного училища живописи, от ученика, от г. Н. Н., — все это — неприязнь и ненависть одних, любовь и восторг других — делало для меня знакомство с Аркадием одним из необыкновенных событий в моей жизни. Мне хотелось теперь к опытам и наблюдениям моим прибавить любопытные опыты над душою истинного художника. Не всякий из нас согласится разменяться местами с тем, чему удивляются, что изучают люди; но все мы любим посмотреть на необыкновенное, странное в мире и в обществе. Так, никто не пойдет жить на краю швейцарского ледника или на скалах Нордкапа; но кто же отречется взглянуть на сии дивные явления природы и рассмотреть их внимательно? Отказавшись от практической деятельности жизни, в провинциальном уединении моем я привык к теоретическим наблюдениям. В Аркадии думал я увидеть аналитическую поверку моих теорий изящного. Я создал его предварительно в моем воображении. Я вообразил себе Аркадия с греческим лицом Гете или германским профилем

Шиллера, страждущего, гонимого, потерявшего в генерале *** друга, который развил его высокую, пламенную душу: И теперь этот человек с неба дружбы упал в существенность, богатую идеальными отблесками, но бедную во всех других отношениях. В беспорядке убранства Аркадиевых комнат, в смешении излишеств и недостатков жизни, во всем, даже в картинах, сброшенных в кучу и покрытых пылью, и в этой картине, которую неделю любовался он и которую потом сам он изрезал, — во всем, казалось мне, слышал я вопль души, отвергаемой миром и людьми, недовольной собою. Мне досадно даже было, что Аркадиев идеал женщины не походил на Мальвин и Миньон, ибо в изображении хорошенького личика, которое писал и чертил везде Аркадий, уже наверное думал я видеть изображение идеальной его красавицы. Это изображение казалось мне слишком мило и очень красиво для идеала художника! Аркадий заставлял меня забывать о моей степенности, моих сорока годах: мне казалось, что я сам молодею, разогреваясь его юною, горячею головою... Какой несносный эгоист человек:

он всегда видит только себя, глядясь в других... Что делать!..

Но как же досадно разочаровался я на другой день, увидев Аркадия! Совсем это не был молодой человек с греческим профилем Гете, германским профилем Шиллера, потухшими в борьбе сильных страстей глазами или невыносимую, наполеоновскую бесцветностью глаз. В одежде его не было байроновской изысканности, ничего восточного; не было у него ни шиллеровских локонов, ни гофмановской дикости. Увидев меня, старый слуга спешил сказать обо мне Аркадию, и пока я ставил в угол свою палку, в переднюю вышел молодой человек, в модном сюртучке, с деланным галстухом на шее, с русыми, опрятно причесанными волосами; лицо его было благородно, правильно, но ничего особенного не выражало. Глаза его были, как говорится, голубые, то есть просто серые. Впрочем, глазами Аркадия я остался потом доволен: серый цвет их сбивался в голубой, и они оживлялись в разговоре. Аркадий был высок ростом, строен; только в движениях его не было ни простоты изящной природы, ни увлекатель-

ной изысканности светской, могущей заменить природу, как ассигнация заменяет звонкую монету. Отличительным признаком осанки и обхождения Аркадия была чрезвычайная неровность выражения в лице и в движениях: Аркадий то слишком казался веселым, то вдруг слишком задумывался; мне не понравилось еще, что он то и дело всчесывал рукою густые, длинные волосы на голове своей. Словом, Аркадий, при первом появлении, не сделал на меня никакого сильного впечатления: я видел перед собою обыкновенного молодого человека, обыкновенно одетого, и если бы кто-нибудь не сказал мне: "вот художник", — я ничего не подозревал бы в этом правильном, приятном лице, в этой простой улыбке, этом обыкновенном наряде. Ничего особенного не выражал мне и голос Аркадия, приятный, но не заставлявший душу ни трепетать, ни радоваться. Особенно занятые, в каком застал я Аркадия, мне особенно не понравилось.

Он с улыбкою взял меня за руку и сказал:

— Конечно, я имею честь видеть г-на Мамаева?

"К чему такой пошлый вопрос?" — подумал я, готов был грубо отвечать и немедленно расстаться с Аркадием. Он спросил меня после сего об отце своем, но без всякого особенного чувства; наконец просил полюбить его и пожаловать в его гостиную. Тут нашел я толстую, богато одетую даму, ту самую, к чепчику которой Аркадий приставил ослиные уши. Дама сидела, надувшись, стараясь придать миловидное выражение своему толстому, брюзглову лицу. Портрет ее находился перед Аркадием, и он дополнял в нем некоторые черты, пристально разглядывая даму. Он просил меня извинить, что должен докончить при мне свою работу. Мужчина, худой и сухой, сидел и дремал в углу. Я просил Аркадия не беспокоиться, продолжать работу, и сел в другой угол, пристально рассматривая своего нового знакомца. Он весело работал, отрывисто, но вежливо разговаривал с дамою; улыбался на ее глупые ответы. Портрет этой дамы был превосходен. Ушей ослиных уже не было на нем — Аркадий закрыл их большими букетами и бантами. Лицо, изображенное Аркадием, выражало всю глупость, все безобра-

зие подлинника, но он придал ему что-то доброе, веселое, и дама была в восторге — портрет походил на нее чрезвычайно и не походил нисколько. "Насмешник и льстец, обыкновенный ничтожный художник! — думал я. — Если ты поневоле принял на себя заказ написать эту глупую рожу, можешь ли ты быть так спокоен, так весел, услужлив? Вижу, что ты изрезал свою картину из жалкой робости, а не по сознанию недостигнутого идеала!" Нельзя было не отдать, однако ж, справедливости искусству Аркадия. Судя по портрету, кисть его была смелая, резкая, удивительно правильная. Занятие продолжалось с полчаса. Аркадий встал наконец и сказал, что портрет готов и завтра он пришлет его к ее превосходительству.

— Ах! покорно вас благодарю! — вскричала дама. — Только помните: соблюдайте мой секрет; ведь это будет сюрприз моей сестрице! А теперь позвольте же мне расплатиться. Эй, Яков Потапыч! Опять, батюшка, задремал! Проснись! Отдайте, сударь, деньги!

Сухой человек зевнул во весь рот, отсчитал не знаю сколько ассигнаций и подал Ар-

кадию.

— Покорно вас благодарю, — начала опять дама.

— Ваше превосходительство обещали рекомендовать меня вашему дядюшке, — почтительно сказал ей Аркадий.

— О, непременно и охотно! — вскричала дама. Она и спутник ее пошли. Аркадий вежливо провожал их.

— Это генерал и генеральша W., — сказал он, воротясь. — Простые, но добрые люди! Генеральша готовит сюрприз сестре и тихонько приходит ко мне с своим мужем, хотя взбираться в третий этаж ей очень тяжело.

"За что же ты приставил ей ослиные уши, бессовестный! если они точно добрые люди?" — думал я про себя и решительно рассердился на Аркадия. Уже все теперь бесило меня: я досадовал, что он осторожно спрятал деньги в бюро, а не скомкал и не бросил их, что после того он учтиво сел подле меня и завел самый вздорный разговор. Как житель Петербурга он вздумал мне, приезжему провинциалу, говорить о новостях столицы, о новых зданиях. Недолго просидел я и с досадою

ушел домой, повторяя; "Он не художник — он обыкновенный молодой человек, и живописец просто — искусный, но не поэт!"

Я был несправедлив к Аркадию. В наш век воины сняли железные брони свои и философы не ходят уже в изодранных лоскутьях какого-нибудь цинического плаща. С чего же вздумалось мне искать наружного байронизма и гофманизма в Аркадии? Неужели художник и поэт должны отличаться от людей полусумасшедшим видом или странностью одежды? Наш век кажется веком бессильных страстей внутри, без резких отличий извне. Он весь одет однообразно, причесан, подвязан, ходит и говорит однообразно. Все воины наши в мундирах, чиновники в вицмундирах, не чиновники в темных фраках. Но тем глубже и пестрее внутреннее образование нашего века. Никогда не являлся человек столь знающим, столь страстным, столь высоким, как является он ныне. Все тихо, все однообразно в нынешнем обществе; но откуда же неслыханные, уродливые события, горячки умов, разрушительные страсти, какие сверкали и сверкают в мире в наше время? Мы от-

личны от стариков наших тем, что душа нынешнего человека потеряла самодовольство: он недоволен людьми, недоволен собою. Разочарованный в том, что совершенно увлекало его отцов, не должен ли нынешний человек укрываться в мнимую бездейственность и внешнюю однообразность и оттого впадать в ужасную неровность характера, то бросаемый страстью вне круга обыкновенной его жизни, то снова упadaющий в нее? Наше поколение, как Наполеон, стоит сложив руки или нюхает табак, пока страшная битва — Вagramское, Бородинское, Ватерлооское сражение — гремит в душе его. Он задумчиво смотрит в землю, как будто ищет чего-то потерянного праотцом Адамом. Найдет ли он? Не знаю; но — это глубокое озеро без истока, на дне его бездны, а поверхность тиха, и едва легкий ветерок пробежит по ней, всколышет ее легкими кругами — они расходятся, и снова озеро зеркально, светло и неподвижно. Нынешняя жизнь — роман, первую часть которого написал Август Лафонтен, а вторую еще дописывает Виктор Гюго.

Аркадий явился ко мне на другой день.

Несмотря на мою угрюмость, на предубеждение против него, я не мог в этот раз не отдать справедливости ему в той нежности, с какою говорил он об отце своем, в той заботливости, с какою расспрашивал он обо всех подробностях житея его. С каким чувством говорил этот добрый сын о том, что он вскоре надеется сделать для отца своего что-нибудь полезное! Он молчал о братьях или отзывался почтительно. "Он скрывается от меня, — думал я, — не открою же и я ему, что знаю его гораздо лучше, нежели он полагает!" Аркадий мельком говорил о своих занятиях. Я также ничего не говорил ему о том, что видел в нем мой разрушенный идеал художника. "Он явно притворяется, — думал я, — или в самом деле отказывается от своего назначения и хочет улечься на прокрустово ложе света, хотя бы привелось для этого отрубить ноги! Что же? Он думает, что я не стою признаний души его? Хорошо, и я не покажу ему своей души: я эгоист!"

Мы виделись потом еще несколько раз и каждый раз, невольно, становились искреннее друг с другом. Разговоры наши перестали

оканчиваться ничтожными пустяками. Наконец я имел случай оказать Аркадию маленькую услугу. Однажды захожу к нему, застаю его в страшном беспокойстве и требую объяснения. Аркадий долго колебался и, краснея, сказал, что ему недостает несколько денег для одного весьма важного дела.

— Вот тысяча рублей, — сказал он, — а мне надобно две.

— Вот другая, — отвечал я, выняв бумажник и отсчитывая деньги.

Аркадий крепко пожал мою руку и с минуту ходил молча, в сильном движении. Через три дня он принес мне деньги и не благодарил меня: это мне понравилось, ибо я видел, что, сказав мне пошлую благодарность, он отделался бы ею; теперь, напротив, Аркадий сбросил с себя личину вежливого равнодушия, и в первый раз он понимал меня, а я его. В первый раз тогда между нами завязался разговор от души. Я обратил его на изящные искусства, и Аркадий не скрывался более. С жаром начал он говорить об упадке изящного в наше время, о средствах свести изящные художества с ложной дороги школьных усло-

вий, по которой ныне идут они. О многом спорил я, со многим соглашался, удивляясь необыкновенным познаниям Аркадия. Вдруг он схватил меня за руку и сказал:

— Простите меня, г-н Мамаев: я не знал вас. Я думал, что вижу в вас просто умного, доброго человека: теперь вижу в вас горячую душу, человека глубоко чувствующего, просвещенного. Вам доступно все прекрасное. Зачем вы скрывались от меня?

Слова эти были сказаны так добродушно, так просто, что я невольно улыбнулся:

— Зачем сами вы, любезный Аркадий, хотели спрятаться от меня под маскою ничтожного живописца и молодого петербургского щеголя?

— Я щеголь? Если бы вы прежде знали меня, то могли бы назвать немного сумасшедшим по наружности; с некоторого времени этот недостаток перестал быть моим недостатком. Я сделался благоразумен, осторожен, опрятен. Мой старый Семен Иванович не может теперь нахвалиться мною. Но, право, я совсем не щеголь, ни одеждою, ни обращением, ни душою.

— Аркадий! Я не того хотел от вас, чем вы хотите казаться.

— Чего же вы от меня требуете?

— Я хотел видеть в вас истинного художника, а видел только молодого портретиста, который так одет, так работает и говорит, что от него ничего ожидать не смеешь. Вы скрывались от меня? Да или нет? Если нет, то вы упали духом — вы пережили даже недовольство своего падения: вы уже спокойны, и это спокойствие есть тишина смерти!

Аркадий задумался. Лицо его изменилось.

— Что ж мне делать, когда этого хотят от меня судьба и люди, — сказал он тихо, — когда без этого счастье мое бежит от меня! Хочу удержаться хоть за него — со всем другим я простился: одно недостижимо, другое пусто. За чем гоняться мне? За призраком ничтожной славы? Но и его могу ли достигнуть? Кто уверит меня, что мне можно надеяться на силы свои... О, мой почтенный друг! зачем тревожите вы терзательные мечты, которые задушил — усыпил я, по крайней мере! — Аркадий схватил мою руку и сжал ее крепко обеими своими руками. Он был очарователен в

это время. Таким желал и надеялся я видеть его.

— Что заставляет вас принимать во мне столь сильное участие? — спросил он, растроганный до глубины души.

— Долго рассказывать, как родилось и усилилось мое к вам участие. Может быть, для этого надобно б было рассказать вам прежде всего собственную жизнь мою... Но, я клянусь вам, Аркадий, что во мне видите вы человека, который на себе испытал, как тяжело душе, как душно сердцу, если призвание наше в мире не исполняется! Годы безвозвратно погасили для меня все мои мечты, все мои надежды; но, смотря на вас, полного жизнью и надеждами, могу ли не думать о том, как грустно, как страшно кончить их ничтожным физическим бытием!

— И люди говорят о ничтожности и бесчувствии мира, если в нем жил ты, святая душа, второй отец мой! если судьба столкнула меня теперь на дороге жизни с новым другом и если мир украшен бытием создания, которое может заменить мне все вдохновения исчезнувшего века художеств... — Аркадий

вдруг остановился. Насмешливая улыбка появилась на лице его. — Вы мечтатель, господин Мамаев, опасный мечтатель! С чего вы вздумали наводить на меня волшебное стекло вашего воображения? Вы обманываете себя, обманываете меня, и, клянусь богом, это бессовестно, стыдно! Зачем искать во мне того, чем не велят мне быть ни судьба, ни мир, ни люди? Кто я? Сын бедного чиновника, ничтожный разночинец, братья мои подьячие, мне надобно было сделаться также подьячим. Пришел ко мне такой же мечтатель, как вы, наговорил мне бог знает чего; я заслушался его и поссорился с миром и с судьбою. Чего не вытерпел я за то, что отказывался идти в гусиной веренице, которая тянется целыми поколениями от колыбели до гроба! Чего не вытерпел я от самого себя еще более, нежели от других! "Художник", "идеал" — вздор, вздор! Говорите "маляр" и "счастье"; да, счастье на земле, без неба и идеалов! Вот что я — и прекрасно, чудно хорошо! На что искать идеалов, если они не превзойдут существенности — милой, очаровательной, живой, дышащей жизнью? Я скован и счастлив. Что мне в воле,

если она только губит и терзает меня! Вы изумитесь, мечтатели, как тихо и спокойно можно быть счастливым? Зачем нравится вам только бешеный водопад Ниагарский? Не лучше ли любоваться милым ручейком, который вьется и журчит между цветами? Вы презираете его? Но в вашем водопаде видна только мутная пена страстей, а в ручейке отражаются — и солнце, и небо, и тихие небесные звезды, и целый мир! Любезный, почтенный друг мой! Я изодрал мои глупые рисунки, над которыми просиживал ночи и бесполезно тратил жизнь мою; на других нелепых мечтах моих мирно плетет свои сети паук, и никогда не смету я с них паутины... Не надобно картин — не хочу писать их; пишу портреты, рожи людские, и пишу как ремесленник! Уверяю вас, что теперь только нашел я истинное счастье — мне так весело, спокойно — я так доволен... — Он судорожно сжал мою руку, и слезы сверкнули на его глазах.

— Счастье ваше похоже на куклу, которою играет ребенок. Но вы насильно делаете себя ребенком, добровольно позволяете своему счастью пеленать вас, как дитя, и — я стра-

пущь за вас, Аркадий! Не знаю, какой волшебный сон лелеет вас, но, друг мой, это мгновенный сон, а не жизнь: пробуждение ваше будет опасно; лучше бороться с судьбою, нежели позволить ей без сопротивления сковать себя...

— Нет! Мой сон прекрасен, как жизнь, и не прервется, — сказал Аркадий, с радостным самодовольством закрывая глаза рукою. — Его сам бог создал для меня!

— Аркадий! — сказал я с досадою. — Понимаю: вы влюблены? Угадал ли я?

Он затрепетал.

— Вы любите?

— И неужели я не любим? — спросил Аркадий с трепетом. — Почему же вы знаете, что я не любим? Нет, нет! За мою бешеную, безумную страсть, за то, что для нее отказался я от всего, от самого себя, ужасно было бы не

Платить хотя участием, хотя снисхождением! А смею ли требовать более? За это снисхождение... мало жизни моей! Несносные женщины! Они везде вмешиваются и все портят! Так вот разгадка его бесчувствия! Он любит... Женщина уничтожила его... И дивиться

ли после того чему-нибудь, если на жизнь он смотрит глазами женщины, а ей жизнь кажется занятием вроде хозяйства; она вяжет ее, как чулок, плетет ее, как кружева, вышивает ее по канве, в размеренных квадратцах...

— О нет! вы не знаете моей Вериньки, — сказал Аркадий. — Она не женщина: это чудное существо, залог мира между небом и землею! Она умела сделать из меня то, чего не сделали люди с их гордостью, их силою — чего не сделала дружба человека единственного! Она доказала мне невозможность неба на земле, но доказала, что и земля есть небо, если мы забудем для создания пленительного все-все, и самих себя, передаваясь ему! Ей пожертвовал я всеми мечтами... какая мечта сравнится с нею! Я бросил все свои ничтожные идеалы... какой идеал не бледен перед моею Веринькою! Она помирила меня с самим собою, она поведет меня тихо, нежно по остальному пути жизни. Так, я чувствую, что напрасно старается человек создавать и ищет на земле несбыточных образов — они уже созданы богом и живут на земле в душе женщины. Душа женщины — вот наше небо на зем-

ле, и в нем соединено все! Беден, кто не нашел его — блажен, кто его отыскал! Но тогда — во прах перед ним все страсти, все идеалы, или, как отверженного ангела, тебя изгонят из этого неба, где ничто не должно существовать, кроме душевной невинности!

Аркадий замолчал и начал ходить по комнате. Я прервал молчание, продолжавшееся несколько минут.

— Аркадий, — сказал я, — сердца наши сказались друг другу. Отныне мы с тобою друзья. Вот тебе рука моя, а кому я сам подаю ее, тот не спрашивай меня ни о чем более! Заключенная в минуту душевного бытия, отныне дружба моя к тебе неизменна. Друг мой! Мне сорок лет; жизнь моя была бурная, мятежная; я испытывал страсти, знал и любовь... Она знакома мне... Когда-нибудь я расскажу тебе все страдания, какие перенес я от этого яда жизни... Я трепещу за тебя: ты отравляешь себя медленной отравой! Я угадываю твою Вериньку: это какое-нибудь простое, доброе, милое создание, которое обольстило тебя колыбельною песенкою и усыпило твою пылкую душу тихим напевом ее!

Не для тебя такое счастье: берегись! Душа женщины не рай, но раек. Ты на нее хочешь опереться, но эта опора ломка, как стекло, и, как стекло, изрежет тебя...

Аркадий быстро взглянул на меня:

— Да, я усыплен колыбельного песенкою, но эту песенку не человек напел мне, а что-то божественное. Узнайте Вериньку... Я боюсь показать ее вам: вы можете погибнуть, узнав, как близко от вас было счастье в жизни, а вы не знали его...

Я невольно улыбнулся. Аркадий как будто опомнился и поспешно взялся за шляпу.

— Ах! что я говорю! — сказал он. — Простите! Голова моя так расстроена от нашего разговора... Какая глупость: стараться ощупать руками свое счастье, как будто оно что-нибудь вещественное! Вы ощупаете одни вещественные его формы и никогда не узнаете его вполне... Вы подали мне вашу руку, благородный человек! позвольте мне пожать ее...

"Я тебя понимаю, юноша, — думал я, оставшись один, — понимаю и сожалею о тебе: ты испугался бури, какая волнует океан души человека, и ты думаешь, что лучше причалить

свой челнок близ тихого берега семейственной жизни и задремать под шум бешеных волн, нежели пускаться по кипящим их безднам! Горе тебе, если ты будешь счастлив, как счастливы все люди! Бедное счастье их есть дремота, произведенная маковым питьем; но твоя душа создана не для этой сладкой дремоты, а для жизни, и — горе, если ты пробудишься, когда будет уже поздно воротиться! Страсть художника не начинается усыплением души и не кончится семейственным бесчувствием, чем так дорожат люди для мелких уступок счастья, покупая его, как покупают они себе пищу и одежду. Допускаю страсти — даже любовь, — но не такая любовь, не такая страсть бывает вдохновением высокого. А кто знал, кто хотя предчувствовал это вдохновение, тому пробуждение хуже смерти!"

Увы! Аркадий вскоре сведал на опыте истину, которую я предугадывал и предвещал ему. Страшно пробудилась душа его, безжалостно оттолкнуло его от себя обольстительное, тихое упоение.

После нашего разговора прошло дней шесть. Аркадий не являлся ко мне. Недосуги

мешали самому мне идти к нему. Воспользовавшись первым свободным вечером, я спешил к Аркадию. Семен Иваныч отворил мне двери. Он был печален.

— Где девался твой барин? Не болен ли он? — спросил я поспешно.

— Нет, сударь, но бог знает, что с ним случилось! Дня три тому он пошел со двора такой веселый, такой милый; воротился поздно, и я его не узнал — так был он бледен, расстроен. С тех пор он сидит запершись, никого не велит пускать к себе, почти ничего не делает и даже ничего не кушает.

— И мне нельзя его видеть?

— О нет! Вас он однажды навсегда приказал принимать, во всякое время!

Вхожу в гостиную. Бюро открыто, бумаги, книги разбросаны везде, все в страшном беспорядке. Аркадий был в своей мастерской. Тихонько отворил я дверь. Аркадий стоял посреди комнаты. Огромный, прекрасный портрет откупщика, которым в последнее время занимался Аркадий, был брошен на пол недоконченный. Кисти, палитры были раскиданы повсюду. Большая, вновь начатая картина по-

ставлена была подле окна. Небритый, со включенными волосами, в старом шлафроке, стоял Аркадий, сложив руки и устремив неподвижные взоры на холст, где еще ничего нельзя было разобрать хорошенько. День вечерел; последние лучи солнца освещали комнату.

— Что с вами сделалось, Аркадий? — сказал я.

— Ничего! — отвечал он мрачно. — Это надобно было предвидеть прежде. Вы предугадали, вы предрекли мне то, чего не понимал, не предвидел я! Какая глупость! Мне надеяться быть счастливым? Думать, что я буду так же искусно выть, как воет эта стая волков, называемых людьми! Но чего же хотят они от меня? — говорил Аркадий с увеличивающимся жаром. — Они терзали меня, когда я хотел стать между ними самобытно; они терзают и теперь, когда я отказываюсь от самого себя! Они разрушали мир, какой создавал я сам себе. Они не дают мне местечка и в своем мире! Виноват ли я, что бог создал меня иначе, нежели их? Должно ли за это наказывать меня так бесчеловечно? Но я добровольно стано-

вился в ряды их, отрекался от всего, давал клятву быть их товарищем, таким же, как они, чем они хотят — глупцом, ремесленником, шутком, последним из них...

— Аркадий! что все это значит?

— Ничего! — сказал он, горько улыбаясь. — Они уничтожили высокий мир художника, разбили истукан изящного, которому молился он в Греции, отняли у искусства религиозную святость Средних веков и хохочут над тем, кто стремится в эти погибшие миры искусств! Он враг им, нынешним ремесленникам, и они все за одно против него; мстят ему, как человеку, отказывают ему, если он соглашается на бедное счастье людское, — боятся его, клеймят его позором и насмешкою...

— Но давно ли, Аркадий, давно ли вы были так счастливы?

— Был — да! хотел быть, хотел обмануть себя, если нельзя быть в самом деле. Мой обман открылся — счастье мое погибло... Не мне то счастье, которого я надеялся от людей! Они отказывают мне в этом счастье — отказывают, не хотят его мне отдать! А чего не делал я, чем не угождал им? Боже великий!

Сколько времени был я болваном, куклой их — и за что же другому это счастье? Если он глупец без притворства, почему я не могу притвориться глупцом? Во всю жизнь мою они не заметили бы между нами никакой разницы, не услышали бы ни одной жалобы, ни одного вздоха...

— Успокойтесь, Аркадий. Что такое случилось? Что за отчаяние? И как же не поспешить вам ко мне... Сердце друга согреет, оживит вас...

— Виноват, — сказал Аркадий тихо, — виноват; но — и она с ними за одно — и она! Веринька, Веринька! зачем же обольщала ты меня прежде? Зачем вдохнула в меня жизнь, когда я умирал... Тогда мне легче было бы погибнуть; но теперь тебе без меня, мне без тебя нет смерти — ты моя, моя — ты не вырвешься из объятий души моей; я умерщвлю тебя моим последним, смертным дыханием...

— Успокойтесь, Аркадий. Сядем, будем говорить благоразумно; разберем дело наше основательно. — Я посадил Аркадия. В изнеможении он опустил голову на грудь; руки его упали на колена. Бледный, измученный, он

казался умирающим.

— Аркадий! стыдись: неужели своенравие, даже презрение ничтожной какой-нибудь девочки должно доводить до отчаяния мужа, человека...

— Кто сказал вам, что Веринька ничтожна? — вскричал с сердцем Аркадий. — Знаете ли вы ее, узнали ль вы ее светлую, прекрасную душу? Проникнули ль вы в ее чудное, святое сердце? И она меня любит, знаю, что она живет, дышит только мною — она моя, моя — люди не отымут ее у меня — я принужу их — я вырву у них Вериньку мою! Они должны будут уступить ее мне, моей славе, моему имени! У нас нет Капитолия — нет триумфа для художника; но когда общий восторг поставит меня выше всех... Посмотрите, что напишу я теперь... Вот, что готовил я... Как это было глупо, как это было пошло, ничтожно! Это Грез, пачкун семейственных сцен, копеечного отчаяния, грошового счастья — ха, ха, ха! — Он сорвал покрывало с картины, которая стояла в стороне: я увидел превосходное изображение семейственной сцены. В старинной готической комнате, в

германских одеждах, семейство занимается чтением: старик изображен дремлющим в старинных креслах, молодая девушка опускает занавеску, чтобы солнце не беспокоило его, молодая женщина останавливает детей, которые вбегают в комнату. Она указывает им на старика; взгляд на него превращает их шумную радость в благоговейное молчание; молодой человек держит в руке книгу, опускает ее, вглядывается, прислушивается: точно ли спит старик и надобно ли продолжать чтение или перестать?

Молча любовался я этою картиною — она была прелестна; выражение лиц, темный колорит, рембрандтовское освещение ее были превосходны. Она переносила зрителя в патриархальные времена Дюреров и Гольбейнов.

— Вот, что готовил я, — продолжал Аркадий, — но это глупо в природе, глупо и в картине. Теперь я их ужасну моею кистью!.. Вот здесь, посмотрите, вот здесь я напишу им моего бешеного Прометея. Он изобразит им душу мою, прикованную не к Кавказу, а к этому неблагоприятному, бесчувственному миру; не ворон будет клевать и терзать его, а несчаст-

ное, губительное чувство страсти безнадежной! О боже, боже! Они не люди будут, если не увидят следа крови моей и слез моих в красках, какими изображу я им моего Прометея, — если не отдадут мне после того Вериньки!

Аркадий заплакал, сел и закрыл лицо руками.

— Аркадий, — сказал я, — грустно смотреть на слезы мужчины: мужчина не должен плакать. Умри, но не плачь!

— Ах! мне еще хочется пожить на свете, в нем еще так много хорошего, так много прекрасного — в нем еще существует Веринька; она не моя, но и никому не принадлежит она. Дайте мне слез, позвольте мне плакать, друг неумолимый! И если бы вы знали, о чем я плачу! Не Вериньку — я теряю жизнь! Любовь к ней, любовь ее было все, что привязывало меня к жизни. С потерей Вериньки все связи мои с миром будут разорваны. Неужели хотите вы, безжалостный человек! чтобы и после этого я еще скитался по земле тенью безжизненной? Неужели думаете, что в моих созданиях будет жизнь, когда не будет ее во мне са-

мом? Хорошо! Сделайте из меня привидение, машину, творящую великое и прекрасное; но каково же будет мне, привидению, созданному вами? Ведь я человек — пощадите меня — позвольте мне лучше умереть!

Как странна участь моя! Зачем надобно было юной душе моей соединиться с душою человека единственного, добродетельного, но оскорбленного миром, и людьми, и жизнью! Зачем этот человек исторг меня из ничтожества, в которое судьба поставила меня при рождении! Зачем он оставил меня после того в жертву оскорбленному мною миру! Зачем после него воскресило меня это милое создание, эта Веринька? Да, она поддержала во мне жизнь, готовую погаснуть; за то я хотел ей посвятить мое бытие — ничем более не мог я подарить ее, да я и не мог уже располагать собою: она воскресила меня, но потребовала себе душу мою — я отдавал ей — и этого нельзя мне сделать! Бедный человек! Люди становятся, как разбойники, между мною и Веринькою; она сама пугается, презирает меня, бежит от меня! Чего боятся они во мне! Разве не принимал я всех их условий — всех, но толь-

ко с Веринькою — с нею; а без нее что мне в мире, в людях? На что я сам без Вериньки!

Я радовался, видя, что слезы и жалобы облегчают Аркадия, и не препятствовал ему плакать и жаловаться. Упрямое, молчаливое, одинокое отчаяние, три дня терзавшее его, теперь прошло. Он стал спокойнее. Тогда тихими, сердечными словами дружбы начал я врачевать его растерзанное сердце.

— Аркадий, друг мой! Ты еще так молод, — сказал я, — и уже думаешь, что жизнь совершенно рассчиталась с тобою. Мой друг! перед тобою она лежит еще необозримым полем горести и радости — да, мой друг, и радости! Знаю и уверен, что юность твоя была уже испытана скорбью, но радостей ты знал еще мало доньше. Благодарю лучше провидение, что при начале жизни оно искусило тебя и приготовило к будущим подвигам. Чувство любви в твои годы всесильно, всепоглощающе; но не одно оно объемлет жизнь и мир для человека, который чувствует в душе своей призвание к чему-либо высокому...

— Нет! — сказал Аркадий. — Для меня все погибло, если погибла любовь моя. Судьба ве-

сит в эти минуты жребий мой на весах своих, и если не бросит она любви в мою чашку весов — расчет кончен: Аркадию не существовать более! Тот век, когда художник мог быть художником, потому что не мог быть ничем другим, когда он мог совершенно, всем бытием своим, погрузиться в океан изящного — золотой век Дюреров и Кранахов, Рафаэлей и Микеланджело прошел и не возвратится. Мир забыл уже об этом веке, и художник может существовать ныне только вдохновением страстей: если мне нельзя существовать любовью — художник во мне исчезнет. Других страстей я не знаю: любовь только, одна любовь могла бы вознести меня к великому моему идеалу, назло веку нашему и людям! Выслушайте, добрый, почтенный друг мой!.. Вы должны узнать повесть моей души. Вам все я открою, и потом судите обо мне, судите меня...

— Да он поэт? — Поэт. — Так и довольно:

Уж кто поэт, тот верно без ума.

— *И я поэт, однако ж не безумец...*

— *Ну, вы совсем другое...*

Кукольник

— Иногда, с досадою, я ощупываю свою голову и сожалею, что я не Галль, не Шпурцгейм. Мне хотелось бы доискаться в моем черепе ответа на простой вопрос: "что я такое?" Ответ на этот вопрос разрешил бы для меня многое — все!

Точно ли есть во мне нечто, отличающее меня от других? Точно ли в душе моей есть какой-нибудь огонь — небесный, или... почему я знаю какой, и что он такое, и пусть он будет, что ему угодно! Только есть ли что-нибудь, от чего горит душа человеческая вдохновением изящного и на мозгу человеческом рисуются очерки, каких никому другому не вздумать, каких мир еще не видал и не увидит, если художник умрет, не показав их ми-

ру? Да, не увидит, потому, что они его — их нет в природе — их не природа создает, а он, художник, творец их: он не захочет и не отдаст их миру!

Или во мне нет ничего творческого, создательного: я не художник!? Мечты мои — неясный бред горячки, лихорадочный жар бессилия, которому хочется в небо и которое не летает, а прыгает, и то на земле, думая, что летает в небе! И тогда что же вся жизнь моя? Что мои безумные порывы творить? Это ужасно! Природа не отзывается моему голосу, люди не понимают моего вопля, не потому ли, что я жалкое дитя, бедное, полоумное дитя, помешавшееся в колыбели? А! это ужасно!

Вдохновение истинное, творчество неподдельное, не должно ли быть тихо, спокойно, величаво? Истинный художник — это царь среди людей, волшебник среди природы; на голос его преклоняется народ, по мановению руки его пляшут толпы невидимых духов, страсти облекаются в живые образы, гроб сказывает свой ответ!

И я ошибся, избрав себе поприщем жизнь художника? Я ошибся, думая, что на голове

моей светит пламя избранника божьего?

Вы не поймете, добрый друг, какое отчаяние отравляет душу при этой мысли! Человеку, который мечтал видеть в себе сына великого властителя, открывают, что он сын раба, вместо трона ему указывают на ошейник невольника! "Тебя подменили в ребячестве ошибкою — тебя подменила злая кормилица — ты раб, а не царь!" — говорят ему — и еще смеются при этих словах, смеются. — Боже великий! Неужели люди могут в эти минуты смеяться? Что же оставят они дьяволу?

Сколько раз, в грустном, безнадежном отчаянии, думал я, что весь мир хвастливо ошибался и грубо ошибся, что изящного вовсе нет в мире, что все это бред, вздор, мечта, что художник есть такой же работник, как слесарь, кузнец, плотник. Это бывает утешительно думать. В самом деле: почему не так? В последнее время эти мысли особенно радовали меня. Знаете ли, с каким наслаждением воображал я себе жалкое унижение Шекспира, с ролью в руках, за кулисами; глупую радость Корреджио, идущего с мешком медных денег на плече; жадное корыстолюбие Паганини

подле ящика, где раздают билеты в его концерт... Вот вам они, эти художники, обнаженные, ободранные! Что вы смотрите на блестящую мишуру их? Глядите на них, как глядят все другие: никто ничего в них не видит и не ищет. Им заказывают трагедию — потому, что людям скучно же сидеть сложа руки в долгие зимние вечера; у них покупают картину — надобно же какому-нибудь богачу что-нибудь повесить на голой стене его залы; им говорят: "играй!", как говорят собачке: "служи!" И вот: поэт чинит перо свое, живописец трет свои краски, ваятель покупает себе у торгаша кусок мрамору. Вздор, будто когда-то искусство горделиво стояло в ряду других великих действий гения человеческого — никогда этого не было! И теперь художник есть мастеровой, каким был всегда! Говорят, что лучшие мастера во всяком деле — все пьяницы. Великие художники — это нравственные пьяницы! Мир, люди, обстоятельства иногда их вытрезвливают. И тогда, трезвые, они ничего не могут сделать, дивятся сами себе: как они сделали то или другое в чаду головы своей? Это лунатики: они лазят на крыши, на ко-

локольни; но берегитесь назвать их по имени, берегитесь сказать им: "Ты человек!" Лунатик тотчас свалится с высоты и расшибется — бедняжка!

Но убийственная истина снова, еще сильнее прежнего, впивается в сердце после всех таких оскорбительных для человечества помышлений! Нет! это клевета на бога и человека — нет! не опьянение произвело тебя, "Ночь" Корреджио, тебя, "Гамлет", тебя, "Водопад" Державина! В душах создателей ваших были забыты мир, и люди, и страсти! Они творили потому, что не могли не творить; они были художниками потому, что не могли не быть ими! Но как же узнать это безотчетное сознание? Неужели Шекспир твердил свой монолог Гамлета, когда крал орехи у судьи Шаллова, а Державин читал свою оду "Бог", когда стоял с ружьем на карауле? Как узнать отличие истинного художника? Скажите, скажите мне его, ради бога! Клянусь, что я принялся бы шить сапоги, стучать молотом по наковальне, если бы кто-нибудь убедил меня, что я гоняюсь за тщетною мечтою! Надобно же было судьбе толкать меня на ны-

нешнюю мою дорогу. Если же было надобно, зачем она ничего не дала мне на дорогу? Зачем она завалила путь мой людьми, страстями, отношениями? Путеводная звездочка моя светит — она прекрасна, но она не солнце, и я замерзну на снеговой дороге, глядя на мою приветную звездочку...

Говорят, что с самого детства уже видно бывает назначение человека. Судя по себе, я не знаю, правда ли это. Никогда колыбели моей не окружали ни видения, ни предвещания; никакой благодетельный гений не слетал баюкать меня; никогда не чувствовал я в детстве минуты восторга, в которую хотел бы воскликнуть: "И я живописец!" Колыбель мою качала добрая моя мать и напевала мне баюкальные песни, как и другим детям; отец мой говаривал мне: "Учись, Аркадий, азбуке — будешь славный канцелярист!" Вы знаете отца моего, но не знаете его хорошо. Не видывал я человека добродетельнее его; но он не получил никакого образования и нам не мог его дать. Вечно занятой в своем казначействе, при недостатках в жизни, он сохранял только темную какую-то мысль, что надобно учиться

для отличия от мужиков. Чему учиться? Как учиться? Отец мой не знал этого. Выходило то несчастное состояние, когда человек теряет первобытную грубость и не восходит на степень истинного образования. Старшие братья мои, добрые, смиренные, умные дети, учились, ходили в уездное училище, потом в гимназию. Я был негодный баловень, родился слабый, больной, и мать испотворовала меня, сделала упрямым, своевольным. Я не был ни зол, ни коварен, но меня надобно было уговаривать ласкою, если хотели что-нибудь из меня сделать. Может быть, моя неохота учиться произвела то, что, своевольно бегая и играя, я стал бодр и здоров. С малых лет братья мне завидовали — их так мало ласкали; они хотели отнимать мои игрушки, какими мать беспрестанно дарила меня, — им не давали игрушек. Я дрался с ними, кричал, плакал; потом сам отдавал все братьям и товарищам, когда их наказывали за ссору со мною. Если же они сердились, не брали, я бросал все, что дарили мне, все, кроме одного суздальских картинок. Вы знаете эти лубочные изображения райских птиц, погребения кота — это были для

меня драгоценности; их не уступал я никому, лепил их на стену подле своей кровати, рассматривал их, любовался ими. Нередко просиживал я целые часы, глядя на них, перелепывая их с места на место, и даже не помню, когда я начал их сам списывать. В памяти моей сохранилось несколько случаев детства, оставивших во мне более сильное впечатление. Однажды приятель отца моего, слыша, что я бестолков и ленив на ученье, сказал, что принесет книгу, которая заставит меня полюбить ученье. Он подарил мне, в мои именины, "Начальное руководство" — книгу, изданную в 1793 году в Петербурге, со множеством картинок. В этот день я не спал и почти ничего не ел: книга эта казалась мне новым, волшебным миром! Тут было все: цари, боги, история, цветы, звери. Я скоро выучился читать, для того только, чтобы знать, что такое значат все эти чудные изображения? "Начальное руководство" составлено не мастером своего дела: это небольшая энциклопедия, где смешано без разбора все: священная история, мифология, естествознание, технология, басни, сказки; многое совсем не прино-

ровлено к понятиям детей. Я вытвердил его наизусть. Показывая рисунки, я мог подробно рассказывать содержание их и изумлял гостей отца моего своими знаниями, не зная ничего основательно. В голове моей вертелся хаос слов, сказок, сведений, но я приводил в замешательство старших братьев моих, учеников гимназии. Видя, что я сам себе составляю краски из угля, чернил, ягод, цветов, мне подарили кисточку и ящичек плохих красок. Тогда я ничему уже не хотел более учиться и только рисовал беспрестанно. Через несколько месяцев опять дивились моим рисункам. Я копировал все из моего "Руководства", списывал все мои суздальские картинки, срисовывал цветы, делал силуэты так искусно, что они были совершенно не похожи ни на кого, но мать хвалила меня с восторгом, называла руки мои золотыми. И я гордился, рисовал неутомимо, почитал себя великим мастером, до того, что однажды, оставшись один дома, вздумал я списать образ ахтырския богоматери, находившийся в моей комнате. Мать застала меня за этим занятием, тихонько подошла и, вместо того чтобы бранить, обняла ме-

ня, заплакала. "Ах, ты мой милый Аркадий! — сказала она мне. — Ты напоминаешь мне грех, лежащий на душе моей!" Я испугался. Мать моя объяснила мне, что, когда я, едва родившись, был отчаянно болен, она дала странное обещание: если я выздоровею, научить меня иконописанию, чтобы я мог сам списать образ ахтырския богоматери и на свои бы деньги сделал потом для этого образа, ризу позолоченую. "До сих пор я не подумала еще об этом, окаянная! — сказала мать моя, сложив руки, и слезы потекли по щекам ее... — Не подумала, хоть сам господь вложил в тебя охоту к живописи и теперь явно наводит меня на покаяние, когда ты, не зная моего обещанья, по своей воле принялся списывать образ ее, матушки-владычицы!"

Да, если я не чувствовал никогда тайного отзыва гения изящного, то это событие вдруг заменило мне все его отзывы. Боже! как наполнилась жаром каким-то моя голова, как забилося мое сердце! Благочестие было всегда первым правилом в нашем доме. Мать моя была чрезвычайно набожна. "Я обречен при самом рождении списать образ твой, влады-

чица!" — думал я, смотря на икону ахтырския богоматери. Вы знаете этот образ: на нем изображена богоматерь в простой одежде; умиленно сложила она руки пред распятием. "Я должен снять обещание с души матери моей!" Мне показалось, что богоматерь улыбается мне; со слезами бросился я на шею к матери моей и потом убежал в сад. Вечер был прелестный. Солнце тонуло в разодранных, фигурных, фантастических облаках, облежавших запад после сильного дождя; оно расцвечало их радужными цветами; все остальное небо было голубое, синее и переливалось по краям золотом и пурпуром. В первый раз в жизни природа, дотоле мертвая, механическая, заговорила со мною. Стоя на коленях, я молился, глядел на небо, на эти цветные облака, и мне казались они сонмами святых, образами богоматери, исполинскими украшениями храма предвечного! Ветерок зашелестил листьями, соловей защелкал в ближней роще, иволга, милая моя иволга вторила мне своим унылым голосом... Счастливое мгновение! Тогда решился мой жребий!

Неправда, будто изящные художества со-

ставились механическим подражанием природе. Тогда, молясь в саду, я не мог бы доказать противного, но не поверил бы, если бы стали мне говорить об этом! В то мгновение я был первобытным человеком, тем девственным человеком, который первый вздумал перенести образ человека и природы в искусство. Надобно, чтобы когда-нибудь этот первый существовал. Я, дитя, восторженное порывом к божественному, проникнутое пророческим голосом матери, который обрек меня быть живописцем, когда еще я не понимал ничего, когда жизнь и смерть спорили обо мне, ничтожном, бессильном, — я безотчетливо перелетел в область первобытной фантазии человека: я создавал себе, что узнал я после; создавал много такого, чего не знаю еще и теперь! Все, что читал я в моем "Начальном руководстве" — история, басня, сказка, — все слилось с тем, что меня окружало, с этим небом, этою землею, этою зеленью деревьев, этим пением птичек, слилось в душе моей в неясные образы, оцветилось радугою. Выразить, сказать это — я не мог и не умел. С жаром чертил я тогда на песке палочкою фи-

гуры; они были неправильны, нелепы. Но это не было грубое желание только чертить что-то похожее на человека, на зверя, на птицу — нет: эти черты изображали для меня идею того, что скрывалось в душе моей. Указывая на них, с детским добродушием я готов был подробно, красноречиво объяснить, что они для меня изображали. Если б я был язычник, я преклонился бы пред ними, видя в них сокрытую, тайную мысль, которой вполне не мог я выразить не только словами, но и в душе моей, моими мыслями! Простите мне подробности о моем детстве. Видите, как странно связывалась жизнь моя с тем, что после, в часы забывчивого наслаждения, я почитал своим предназначением и — чего теперь не почитаю этим.

Разговор с матерью и время, проведенное мною после того в саду, неизгладимо запали в душу мою. Какое-то религиозное чувство стало наполнять меня после того всякий раз, когда я смотрел на образа. Мне казалось, что они богом поставлены в жилище человека, чтобы напоминать ему о небе, о том чувстве, какое испытал я, молясь в саду. Люди, создаю-

щие эти святые образа, казались мне людьми, отличенными богом от всех смертных. В первый раз узнал я наслаждение переживать себя в создании своем. Неизобразимо было впечатление, когда приходил я после того в церковь. Там старинный высокий иконостас нашей приходской церкви с темными его образами казался мне миром, который создало искусство человека, напоминая ему о высоком назначении художника как изобразителя божественного. Когда, за всеобщего, растворились царские двери и среди куренья фимиама, в сумраке ночи, тускло озаряемом мелькавшим перед образами огнем свеч, при звоне колоколов, наносимом откуда-то издалека, извне, сверху, являлись священник и диакон в своих блестящих ризах, и когда согласный клир громко начинал петь: "Хвалите имя господне, аллилу-ия!.." О, мне тогда казалось, что иконостас, алтарь, весь храм и сам я — все превращалось в картину! И эта картина шевелилась, оживлялась — казалась мне безмерною; лики святых являлись чем-то оживленным, не человеческим, алтарь — престолом бога и весь мир — его рамою! После того

я не мог уже смотреть на мои суздальские картинки, на эстампы, где изображались звери, и птицы, и люди. Я бросил мое "Начальное руководство", где живопись сведена была часто на изображение предметов ничтожных. Греческое иконописание, с его неестественными цветами, его рельефным очерком, мечталось мне единым достойным живописи делом.

Я умолял мать мою отдать меня учиться иконописанию. Она не смела сказать об этом отцу. Как можно было мне, сыну титулярного советника, учиться у мужика какого-нибудь, и чему же? Пусть бы рисованью, так, как учатся ему дворянские дети, учатся братья мои в училище, где их заставляют скопировывать глаза и уши, нередко с уродливых гравюр, бог знает для чего — для того, может быть, что им нельзя же не быть в классе рисованья. Но мне учиться писать образа, у цехового иконописца! Однажды мать моя заговорила было с отцом о моей охоте к живописи и о том, не нанять ли мне учителя?

"То-то, — сказал отец, — к дельному, так у него охоты нет, а вот к дряни так охота!"

"А что вы, папенька, называете дельным?" — спросил я.

"То, братец, что ты должен учиться писать, читать, арифметике да готовиться быть порядочным человеком!"

"А что такое, папенька, порядочный человек?"

"То, что порядочный, то есть чиновник, как я, и как другие, и как все хорошие люди".

"И мне надобно будет так же, как вам, сидеть в казначействе или в палате, как дяденька, где я у него много раз бывал. Но там гадко, папенька! Там сидят подьячие!"

"Прошу покорно: подьячие! Да я-то кто? А ты сам что за птица? Ты должен быть приказным человеком и уметь зарабатывать себе хлеб".

"Разве только о хлебе надобно человеку думать?"

"Разумеется; о чем же еще. Не век я буду с вами, умру; кто станет тогда вас кормить?"

Я заплакал: он умрет, и мне должно будет сидеть в палате, среди этих подьячих, думать о хлебе, только о хлебе! Мне казалось, что вся будущая жизнь моя потемнела тогда передо

МНОЮ...

Видите, какое странное противоречие было во всем моем образовании. Я носил в душе моей безотчетный, но высокий идеал живописи как искусства, изображающего божественное. А люди понимали под этим искусством какое-то черчение домов, глаз, носов, цветов. И мне указывали на такое занятие как на ничтожное дело, пустую забаву. И мне говорили, что я должен целый век просидеть в палате, между этими подьячими, которых я страшился, ненавидал — и не диво: вспомните наших провинциальных подьячих, оборванных, пьяных! Я заметил, правда, бывши несколько раз в палате у дяди моего, что там сидят еще другие люди, которых все уважают, которые украшены блестящими крестами. Но я или думал, что они такие же подьячие, только старшие, или жалел, что они, люди хорошие, должны сидеть в мрачной, закоптелой палате. "Бедные! — думал я. — И все-то они бьются из хлеба! И неужели его так трудно добывать? — И неужели, кроме него, ничего нет на свете?" Стоя в церкви, я часто смотривал на икону, бывшую внизу иконостаса.

На ней изображен был Спаситель в пустыне. Перед ним стоял искушитель, подавал ему камень и говорил: "Преврати его в хлеб!" Ответ Спасителя был подписан вверху. Он врезался в мою память, этот божественный ответ: "Не о едином хлебе жив будет человек, но о всяком глаголе Божиим!" Сколько думал я над этим ответом! Спросить мне было не у кого. Я сам себе разрешал слова Спасителя. "Глагол божий, — думал я, — есть то чувство, которое хранится в душе моей и говорит мне, что я должен быть изображителем для людей божественного, изображителем не из насущного хлеба, но по внушению божьему. Тогда и камень превратится для меня в хлеб".

Мать моя не смела ничего более говорить отцу моему, но, связанная обещанием своим, слабая, добрая, решила учить меня иконописанию между делом, тихонько. Мы условились с нею, что я буду ходить в училище, хотя для виду, и начну между тем учиться у знакомого нам иконописца. Знаете ли вы, что такое иконописцы русские? Они введены в цех и составляют в России многочисленное сословие. У них есть своя теория живописи, свои

манеры писать, составлять краски, покрывать картины лаком. У них есть свои предания, поверья, условия, есть целая письменная книга, где изложены тайны их искусства. У них есть свои школы — корсунская, строгоновская, вологодская. Как литье колоколов почитается у нас доньше чем-то таинственным, с чем соединяется молитва, к чему не должно касаться с злою мыслью, так у иконописцев их занятие. Они не допускают в свой цех человека дурной нравственности и не сделают его настоящим мастером. Они знают, что живописцем был евангелист Лука, что первый образ создал сам Спаситель, утершись белым полотном и послав свой нерукотворенный лик царю Авгарю.

Сзади нас жил иконописец — истинное изображение древних последователей Алимпия Печерского и благочестивого Андрея Рублева, оставшихся в памяти потомства. Это был старик, добродетельный, богобоязливый. К нему привела меня мать моя. Мы застали нашего Альбрехта Дюрера за его работою: на большом столе лежала перед ним огромная доска; он писал на ней образ богоматери всех

скорбящих радости. Выслушав мать мою, которую любил и уважал как добрую соседку, старик указал ей на образ. "Вы, сударыня, скорбите о неисполненном вашем обещании, — сказал он, — а Пречистая приемлет всякую скорбь, и я, изображая теперь ее образ, могу ли отказать вам? Будь благословенно ваше благочестивое желание!" Он подошел ко мне, поцеловал меня в голову; седая, длинная борода его упала мне на лицо. Старик благословил меня, велел нам и начал сам молиться. Какое благоговение проникло тогда в душу мою! Я был в патриархальном веке искусства. Здесь видели в нем великое, святое занятие, не ничтожную забаву. Его начинали молитвою; образ богоматери, разрешающий душу моей матери, составлял предмет труда. Чистая, светлая комната, где мы находились, множество образов, радость матери моей, смиренное торжество старика, когда он заговорил после того с матерью моею о своем занятии, сетовал об упадке его, о забвении чистой иконописи, о развращении нравов между людьми, которые ею занимаются, — это было что-то высокое, от чего душа моя отды-

хала! "Суета овладевает миром! — говорил старик. — Что теперь делают с искусством, занимавшим некогда св. евангелиста Луку и великого чудотворца Петра, митрополита все-российского! Что пишут! Знаете ли, что прежде только избранные допускались к живописи, что их торжественно благословляли святители, испытав наперед их искусство и нрав, что цари призывали в чертоги свои художников, благоговейно молясь их созданиям?

В "Стоглавном уложении" сказано: "Подобает живописцу быти смирну и кротку, благоговейну, непразднословцу, не смехотворцу, ни сварливу, ни завистливу, ни пьянице, ни убийце. Наипаче же подобает ему хранить всякую чистоту, душевную и телесную, в посте и молитве пребывати, и с превеликим тщанием воображати, и писати, что вообразить божественное. Царю таких живописцев подобает жаловати и святителям бреши и почитати их, паче простых человек, зане бог талант великий открыл им!"

Я начал учиться у старика и переселился в новый, очарованный мир. Мое дело слива-

лось теперь для меня с нравственностью, с добродетелью. Не было у меня идеалов, не знал я великих творений человеческих, но я видел что-то небесное, таинственное в занятии моем. Славы я не ведал — мысль об изящном меня не касалась: я считал себя исполнителем обета матери моей, и тем большую прелесть имело это для меня, что соединено было с тайною. Отец и домашние — никто не знал, как уходил я через сад к моему учителю. Старик любил меня, не слышал во мне души. По моей страсти, по моему образованию я превышал всех простых его учеников, цеховых работников, мещанских детей. Мысль, что у него учится барич, радовала старика и потому уже, что, придерживаясь немного старообрядства, он полагал высшие звания потерявшими чистую веру и радовался, что во мне успеет водворить древнее благочестие, радовался моей кротости, моей набожности. Во время работы он беспрерывно беседовал со мною. Он разговаривал о чудесах, о св. писании. Нередко, оставляя занятие, читал он со мною жития святых, плакал за ними и заставлял меня невольно плакать. Помню, как он

рассказывал мне однажды видения святой отроковицы Музы, выбравшей во сне цветок смерти как величайшее блаженство в мире! Ангел подавал ей три цветка — она выбрала белый, прелестнейший — это была смерть, тихая, блаженная кончина, в чистоте и невинности, награда благоугодившей богу отроковице... Со слезами слушая сию повесть, я ждал моего ангела, благовестника смерти... Скоро, однако ж, не стал я довольствоваться учением у моего старика, снова улетаю в область мечтаний. Голова моя разгоралась в мечтаниях. Я старался объяснить старику свои темные мысли.

"Неужели, — говорил я, — ты думаешь, что изображения твои выполняют всю мысль величия и святости, какие может человек понимать и хочет изобразить? Я воображаю себе красоту бога выше красоты человека. Неужели человеку нельзя изобразить этой нечеловеческой красоты, если он ее понимает? Для чего же он понимает ее? Неужели и не было покушения стать выше той степени, на которой находится твоя живопись?"

"Были, сын мой, — отвечал мне старик, —

были такие покушения, но неизобразимое тщетно будем стараться изобразить! Поймешь ли ты бога? Но посмотри: этот треугольник с сиянием изображает тебе мысль твою о боге! Так и мои изображения представляют его: это нижняя ступень лестницы, виденной святым Иаковом, ступень, лежащая на земле, а конец лестницы скрыт в небе. Засни на этой земной, нижней ступеньке святым, детским, невинным сном и переносись только мыслию к созерцанию того, что невообразимо и неизобразимо".

"Бог неизобразим, — отвечал я задумчиво, — так, но он являлся на земле человеком. Покажи мне хоть то, что было в нем тогда человеческого. Но неужели так груба была белизна одежды преображенного на Фаворе бога, как ты ее изображаешь?"

"Нет! Лицо его было, яко солнце, и ризы его белы, яко снег, — да где же я возьму красок, дитя мое? В мире их нет! И могу ли изобразить сияние бога, если один луч солнечный, только еще солнечный, упавший на сияние, мною изображенное, темнит его! Говорят, что были будто бы где-то живописцы, до того чуд-

но изобразившие преобразование и рождество, что человек в забвении может подумать, будто их не кисть писала человеческая, не краски изображали! Но я не верю этим рассказам. Видал я немецкие и итальянские картинки, которые католики называют образами, но это грубые портреты мужей и жен красивых — человеческие, а не божественные изображения. Сын мой! Будь прежде всего смиренно-мудр — не ищи того, что не дано человеку, или — горе тебе!"

Так, горе мне! Я искал, чего не дано мне! Но как мог я воспротивиться судьбе, увлекавшей меня по безднам несбыточных мечтаний!

Однажды утром застаю у моего учителя какого-то незнакомого мне человека, в простом сюртуке, в поношенной шляпе, с палкою в руках. Он сидел и тщательно смотрел на работу старика, расспрашивал о разных подробностях и заказывал ему написать образ самым старинным, корсунским писанием. Не обращая внимания на незнакомца, я подошел к благословению старика: так всегда начиналась моя работа; потом сел я за свой столик.

Незнакомец, казалось, изумился, взглянув на меня.

"Любезный друг, — сказал он старику моему, — разве это твой ученик?"

"Да, милостивый государь."

"Но, кажется, он должен быть из благородных, а не из цехового звания?"

Я был одет в своей курточке, с воротником а l'enfant [2].

"Да, милостивый государь. Это сын моего соседа, господина казначея... между нами только сказать".

"Разве это какая-нибудь тайна?" — спросил незнакомец.

"Да, милостивый государь", — отвечал мой старик и рассказал ему вполголоса все происшествие.

Незнакомец слушал хладнокровно. Потом долго говорил он что-то со стариком, но я не слышал их разговора, занятый моею работою: я покрывал тогда лаком икону. Совсем не заметил я, как незнакомец сел подле меня и глядел пристально на мое занятие. Он начал потом со мною разговор. Я привык уже видеть людей, приходивших к старику и рас-

спрашивавших его из любопытства об его искусстве. Тут имел я случай внимательно рассмотреть незнакомца. Ах! черты его изглаждаются из души моей только с моей смертью! Лицо незнакомца было бледно, черные волосы и густые чёрные бакенбарты придавали ему какую-то суровость; темные, унылые глаза его оживлялись участием. Ему было лет сорок пять, по-видимому.

Казалось, что мои ответы ему нравились. Но он вдруг замолчал и ушел.

"Кто это был?", — спрашивал я у моего старика.

"Бог его знает. Умный и, кажется, благочестивый человек, даром что барин", — отвечал старик.

Дня через два, когда отец мой после обеда сидел в своем садике, к нам явился чиновник из губернаторской канцелярии. Неожиданный приход этого чиновника встревожил весь дом, особливо когда он сказал, что прислан от губернатора и желает видеться с отцом моим. Отец мой опрометью прибежал в комнату. Мы толпою глядели из дверей, как раскланивался, как усаживал он гостя неужи-

данного.

"Что бы это такое значило! — вскричал мой отец, когда чиновник ушел. — К его превосходительству, завтра непременно, на особенную аудиенцию! И горе и радость! Зачем бы это? Неприятности никакой нет; он велел мне именно подтвердить это. Разве при своей особе хочет меня определить, по особенным поручениям? Что же? Славно! Жена! белую манишку и галстук белый приготовить мне к завтраму!"

Все мы, мать моя, даже слуги, только и толковали о том, что отец мой завтра позван к губернатору, особенно и непременно. Отец мой встал часом ранее обыкновенного, тщательно брился, беспрестанно глядел на стенные деревянные часы, боялся, радовался...

"Диковинка, диковинные вещи! — вскричал он, едва переступил через порог после своего возвращения. — Жена! Знаешь ли, зачем звали меня?"

"Нет, друг мой!" — отвечала мать моя, глядя на него с робким нетерпением.

"Его превосходительство просит отдать ему нашего Аркадия".

"Как отдать?"

"Да так, отдать, чтобы он воспитывался вместе с его племянником; он хочет наилучшим образом воспитать его и сделать значительным человеком".

Мать моя заплакала — не знаю, от горести или от радости. Я задрожал, в глазах у меня сделалось темно от слез, я зарыдал.

"И ты согласился?" — спросила мать моя.

"А для чего же и не так? С богом!"

"Чем я прогневал вас, папенька? За что хотите вы прогнать меня от себя?" — вскричал я, падая на колени. Слезы лились у меня ручьем.

"Ах ты, дуралей! — сказал отец мой, усмехаясь. — Поди вон и не говори ни слова".

Я ушел в другую комнату, плакал потихоньку, а между тем слушал, как рассуждали отец и мать мои. Они не понимали, что это значит: почему его превосходительство узнал Аркадия; почему он требует именно его} Мать моя думала, что это милость божия, хоть я и не в сорочке родился. Между тем я не понимал ничего в таком неожиданном перевороте дел. Я видал до тех пор губернатора только

раза два, в блестящем мундире, окруженного большою свитою, знал, что его в городе все боятся, слышал, что он все может сделать. Жар и озноб чувствовал я весь этот день.

Мне было тогда лет двенадцать. Если может быть поэтическим названо воспитание самое беспорядочное, то мое воспитание, как вы видели, было поэтическое. Я жил в каком-то странном патриархальном мире, читал много, знал много и ничего не знал порядком. В училище, куда не переставал я ходить по уговору с матерью, меня почитали самым негодным учеником, ленивым, упрямым; даже не заботились, когда не знал я уроков или вовсе не приходил. Мать извиняла меня слабым здоровьем, хотя я был здоров, силен и крепок. Старик иконописец был от меня в восторге, мои успехи у него казались необыкновенными. Он не мог нахвалиться и тихостью, кротостью моего нрава. Таково было тогда во мне соединение противоположностей, и благословенный мир никогда и потом не сходил на меня, на мою душу, мое сердце, мое воображение: они вечно ссорились и ссорятся между собою...

В совершенном отчаянии, как будто на казнь, одевался я на другой день после обеда, когда отцу моему велено было приехать и привезти меня к его превосходительству. Я не знал: как мне войти в великолепный губернаторский дом, мимо которого с любопытством хаживал я иногда мимо; где мне стать, как говорить и что говорить! Его превосходительство и — я! Нас разделяла бездна неизмеримая!

Но беспокойство мое немного уменьшилось, когда я узнал, что мы поедем не в дом губернатора, а на дачу его, верстах в трех от города. Однажды целым семейством гуляли мы там по саду, когда губернатор был в городе. Дом у него на даче был построен небольшой, но прекрасный. Мне страх как хотелось, помню я, войти в него, но отец запретил мне и думать об этом. Его превосходительство казался мне теперь не так страшен, когда не соединялась с ним мысль о великолепных его чертогах. В его хорошеньком загородном доме я как-то легче мог снести величие его превосходительства. Дорогою очаровательные окрестности, прелестное местоположение на

берегу реки, рощицы, поля рассеяли мою грусть. Я опять оробел, когда, остановив старые дрожки свои у ворот, отец мой у крыльца еще снял свою шляпу и в сенях долго оправлялся, учил меня кланяться, потом на цыпочках пошел по зале, где большие зеркала, люстры, паркетный пол меня совершенно изумили. Я дрожал, подходя к кабинету: нас было велено провести прямо в кабинет. Но едва растворилась дверь, страх мой прошел. За большим бюро сидел тут — мой знакомый незнакомец, которого я видел у моего старика иконописца!

В пояс, множество раз, кланялся ему отец мой. Я стоял выпучив глаза, когда незнакомец мой подошел дружески к отцу моему и пожал ему руку.

"Познакомимся, любезный мой Аркадий!" — сказал потом мне незнакомец с улыбкою.

"Да где же губернатор, его превосходительство?" — отвечал я, не кланяясь ему.

Отец мой покраснел от стыда. Незнакомец опять улыбнулся.

"Неужели вы — губернатор, вы — его пре-

восходительство?" — спросил я добродушно.

"Кажется, — отвечал он. — Прошу, мой друг, полюбить меня".

Я совершенно смешался.

"Ах! вас я ужелюбил! — вскричал я. — Вы такой добрый, такой ласковый. Не знаю, за что вас боятся люди!"

Незнакомец не мог утаить вздоха и грустно посмотрел на меня. Я едва не заплакал, я как будто понял его, мне стало его жаль, сам не знаю отчего. Тут хотел я, по научению отцовскому, поцеловать руку губернатора; он не допустил до этого, обнял меня и поцеловал в голову.

После того усадили порядком моего отца и меня. С изумлением глядел я на блестящие шкафы с книгами, на статуи между шкафами, дорогое бюро, часы. Сердце мое трепетало. Я пристально смотрел и на самого хозяина нашего, и лицо его казалось мне добрым, увлекало меня. Принесли чай. Я не смел взяться за дорогую фарфоровую чашку. Отец мой не знал, куда девать ему свою шляпу, и решился пить чай, держа шляпу под мышкою, как это ни было ему неловко. Тут явились племянник

губернатора, мальчик моих лет, седой старик, гувернер его, и еще старик — вы его знаете: это мой добрый Семен Иваныч.

"У тебя будет товарищ, Саша, — сказал губернатор племяннику, — подружись с ним!"

Мальчик горделиво вздернул голову, потом ловко расшаркался и начал говорить мне по-французски: я был уничтожен! Он так был щегольски одет, так ловок, так свободно ходил и прыгал по кабинету губернаторскому. Я дичился, чувствовал свое невежество, свою ничтожность.

Но в это время нечаянно растворили дверь в другую комнату, род небольшого будуара... картузик мой выпал у меня из рук, и я невольно вскрикнул:

"Ах! что это у вас там?"

Там увидел я несколько картин.

"Разве вы не знаете и никогда не видывали картин?" — спросил у меня племянник.

"Не знаю, не видывал!" — отвечал я, сложив руки на груди.

"Пойдем же посмотреть!" — сказал племянник, прыгая. Он потащил меня за руку. Там, над диванами будуара, висело несколько кар-

тин в раззолоченных, богатых рамах.

"Вот, смотрите, — говорил мне племянник, указывая на картины, — вот Корреджиева "Ночь", вот "Иоанн Богослов" Доменикина, вот "Оссиан" Жироде, вот Фридрихов "Пустынный приморский берег"..."

Я стоял вне себя.

Так вот оно то, о чем мечтал я в саду, когда молился там, узнав обещание моей матери! Вот те образа, о которых говорил мне старик учитель, называя слухи о них несбыточными!

"Дяденька! Он их вовсе не знает!" — сказал губернатору племянник.

"Он знает их лучше тебя!" — отвечал губернатор, стоя подле меня, поджав руки и с каким-то горестным наслаждением смотря, как я позабыл всех и самого себя, стоял, глядел на божественные изображения! Это были копии с картин Доменикина, Корреджио, Жироде, Фридриха.

"Сядь здесь, любезный Аркадий, — сказал губернатор, усаживая меня на диван, — и скажи: нравятся ли тебе эти картины?"

"Разве это картины? — отвечал я. — Нет! Не обманывайте меня: ветер точно веет в во-

лосах этого старика — этот месяц светит — а это тот самый святой апостол, которого Иисус Христос любил больше всех своих учеников — а это, видимо, господь новорожденный — от него сияние нестерпимо — посмотрите, как этот человек закрывает глаза: ведь он живой!" — Забывшись, я преклонил колена и молился.

"Довольно, — сказал губернатор поспешно, — довольно! Пойдемте, дети!"

Я позволил увести себя из комнаты, но ничего не мог говорить. Едва заметил я, как распрощался мой отец и куда ушел губернатор.

Едва мы отъехали немного от дачи, как отец начал меня бранить.

"Ты был дурак, мужицкий мальчик, шалун! — говорил он мне. — Сам ты не хотел прежде идти к его превосходительству, а теперь я уже тебя и не пущу, да и его превосходительство тебя прогонит!"

"Ах, папенька! Ради бога, отпустите меня к губернатору, ради бога, отпустите!"

"Да как отпустить тебя, этакое невежду?"

"Что же я такое сделал?"

"Ты вел себя, как деревенский мальчиш-

ка".

"На меня не разгневался, однако ж, его превосходительство?"

"Хуже! Все над тобой смеялись, как ты не умел кланяться и кричал, смотря на картины! Экая невидаль дураку! Потерял свое счастье, да и только!"

"Папенька! Я буду просить его превосходительство ради бога взять меня... хоть в слуги, только бы мне у него жить".

"В слуги! Где ты набрался таких неблагородных чувств и привычек, негодный мальчишка! В слуги! Лакейский дух какой! Нет, я тебя проучу!" — вскричал мой отец сердито.

Горько плакал я, когда мы приехали домой, и отец мой с сердцем начал рассказывать матери, что я посрамил его у губернатора. О боже! Моего возвращения ждали, как торжества: братья, сестры, слуги сбежались встречать меня. Теперь я был прогнан в дальнюю горницу и плакал; все меня дичились, все надо мною издевались! Горе мое было тяжкое. И, право, я не жалел о том, что не буду жить в великолепном доме губернаторском, но мысль моя привязывалась только к

будуару его, к этим чудным картинам. Ах! Как великолепно они носились теперь передо мною, как много высказывали они мне такого, о чем не мечтал я даже и во сне! Мне и в голову тогда не приходило творить самому что-нибудь подобное; я хотел только глядеть на них, видеть их, забывать, смотря на них, все: я не верил, что их создала рука человеческая, земными красками! Земле ли может принадлежать такой младенец? Для земли ли такое лицо, как у этого апостола? А этот старик!..

Я не переставал плакать. Отец прогнал меня от ужина, бранил мать мою.

"Вот до чего довело его твое баловство!" — говорил он. Впрочем, робея перед губернатором, он не заметил, что мы уже знакомы друг с другом. Но он сердился, бранился. Уныние распространилось во всем нашем доме.

Губернатор, его превосходительство, однако ж, не прогнал меня, не разгневался на меня, вспомнил обо мне вопреки словам отца. Рано утром, на другой день, явился кабриолет губернаторский за мною. Добрый Семен Иванович приехал к моему отцу и сказал, что гу-

бернатор переселяет меня к себе на дачу, где я буду жить с его племянником, и что ему, Семену Иванычу, поручено быть моим дядькою. Изумление неописанное овладело всеми. Отец мой не верил глазам и ушам своим, качал головою. Я бросился на шею к Семену Иванычу, обнял мать мою и с восторгом уехал. Губернатора не было на даче. Меня провели в учебную комнату.

Простите, что я рассказывал вам мелкие подробности этого важнейшего события моей жизни. Повторяю: мне хочется показать вам, как странно увлекала меня судьба, как беспрерывно уводила она меня в какой-то волшебный мир воображения и ссорила с действительным миром, где ей надобно было как можно крепче приковать меня. Она забыла, видно, что мне надобно было ходить по земле и дышать земным воздухом! А я так безотчетно предавался увлекающему потоку жизни и всегда был еще впереди своего настоящего состояния! Я еще не знал тогда собственного моего бессилия — теперь иное...

С переселением в дом моего благодетеля началась совершенно новая для меня жизнь.

Рассказывать вам внешние подробности ее нет надобности. Вы знаете, что я жил у благодетеля моего до самой его смерти, более десяти лет. Через год меня не узнавали те, кто знал прежде. Лучше расскажу вам изменения моего душевного мира. Я был тот же, прежний, но сколько перемен во всем, во всем... Изменения морального бытия моего были безмерны, как безмерен был шаг, который вдруг сделал я. Меня, странного, мещански воспитанного мальчика, с моею так легко вспыхивающею головою, вдруг судьба сделала другом, сыном человека богатого, редкой образованности, высокой нравственности, совершенно не похожего на других ни жизнью, ни образованием! Я перестал знать различие между богатством и бедностью. Удобства жизни и роскошь, какими окружил меня мой благодетель, я принимал как дело обыкновенное и не думал благодарить его, ибо он без всякой оценки давал мне их, а я принимал, не зная, что люди ценят их весьма дорого. Так в течение нескольких лет я совершенно отвык от положительной жизни.

Еще более отделился я от мира состоянием

души моей. Мой благодетель в юности своей сделался самовластным обладателем огромного имения; все льстило ему в будущем, люди казались рабами, готовыми служить для угождения ему, для его прихотей! Не зная тягостей службы, он был уже в чинах; не заслужив любви и дружбы, он был уверяем от людей в дружбе и любви и доверился им, был жестоко обманут, разочарован, не возненавидел людей, но был оскорблен ими и начал их презирать. Жизнь, казалось, улыбнулась ему наконец. Он узнал одно милое, очаровательное создание и предался всем обольщениям пламенной любви. Но она умерла, эта очаровательная девушка, а он ее пережил! Несколько лет после того он скитался за границую; наконец приехал опять в Россию, не хотел блестящих должностей и решился взять смиренное место губернатора в губернии бедной и отдаленной. Здесь, в совершенном уединении, жил он, благотворя подвластным, одинокий, только с самим собою мечтая о надеждах, так жестоко обманувших его. Весь жар души его, долженствовавший разлиться по его жизни, осчастливить его

жизнь, горел теперь в грустной любви к ближнему, не освещенной ласковою доверенностью к людям. Он казался угрюм, суров — грозный всякому мерзавцу, унижавший других своим достоинством, не находивший людей, по сердцу, по образованию сходных с ним. Единственный наследник его, племянник, причинял ему только досаду. Это был ветреный, гордый, ничтожный мальчишка. Страсть к изящным искусствам оставалась одною утешительною, постоянною страстью моего благодетеля. Увидев меня у иконописца, к которому зашел он, желая узнать подробности его малоизвестного искусства, добродетельный, одинокий, уединенный в самого себя, этот грустный мечтатель, этот пламенный мизантроп думал, что видит во мне поэтическое создание, предназначенное быть великим художником. Такое чувство привлекло его ко мне. Не только хотел он благодетельствовать меня — нет! он хотел еще наблюдать во мне психологическое развитие души поэта. Системы едва ли не всегда неисполнимы и губительны, если их начертывает предубежденное в чем-нибудь воображение

наше. Вследствие плана своего мой благодетель начал мое образование, чисто поэтическое, по жанлолевской "Леване". Я с жадностью учился, к чему влекли меня мои непреодолимые склонности, но вовсе не учился ничему другому; убегал вперед в одном и решительно отставал в другом. Старый губернатор, добрый француз, воспитанник баттёвской школы, друг Катрмера де Кенси, часто спорил с моим благодетелем, уверяя, что он испортит меня своим неклассическим воспитанием. Но благодетель мой ничего не слушал, вскоре увлекшись ко мне привязанностью, наконец дружбою. Я сердцем понял его, несмотря на мою неопытность; он невольно открыл мне всю свою душу, передал мне свои чувства, понятия. Он не понимал опасности, какой через то подвергает меня. Он, тяжело испытанный, оскорбленный жизнью, разочаровывал меня в действительной жизни и уносил в идеальное бытие. Младенчеству надобны игрушки, юношеству также надобны игрушки. А он обратил мне в игрушку людей и действительную жизнь их, указывая на идеалы, как на истинную цель жизни, воскрешая

свои разрушенные мечты в моей будущности и забывая свои погибшие надежды в моих!.. Но идеалам нет места на земле: человек обязан жить с постылою действительностью и только золотить ее, страшась будущего, как злого врага. Каждый из нас разочаровывается в жизни. Как легко это в свое время, в своем месте! Но не говорите юноше, что под розовыми щеками девушки скрыты костяные челюсти, что эта зелень лесов, и голубой цвет неба, и краски лугов и полей — простой оптический обман лучей солнечных! Не говорите ему, что и под маскою дружбы и любви кроется червь своекорыстия в сердце человеческого! Не говорите, что и жизнь наша есть также страшный скелет, что на земле природа должна иссушать зелень полей и замораживать ручейки и реки, потому что без этого не будет у нее весны. Не говорите ему: вы его убьете!

А он говорил мне все это! Прощаю: ему было от этого легче самому, но я погиб! По слуху, я уже презирал и не любил людей, обожая в них человечество; по слуху, уже боялся я людских страстей и знал ничтожество многого,

перед чем благоговеет грубое невежество простолюдина. И самая фанатическая добродетель его губила меня: она была не по плечу людям. Что же это такое? Урод нравственный!.. Все это отразилось на моем ученье, моей жизни, моей судьбе. Я более читал, нежели учился; голова моя наполнилась идеями, на которые не доставало у меня ни форм, ни образов, ни выражений, потому что я не знал ни жизни, ни света, ни людей. Так, я обожал моего благодетеля, но кроме его не хотел никого даже любить. Самые отношения мои к родным сделались странны: я видел грубое полупросвещение моего отца, его странные формы, простодушное невежество моей матери, мелкий эгоизм моих братьев. Тяжко сердцу, если оно не может уважать тех, кого любит! Я принужден был обходиться с моими родными, как с грубыми, необразованными детьми; братья мои просто возненавидели меня. Отец и мать терзали меня притом своими ничтожными требованиями: почему я не в службе — и опасениями: что ожидает меня впереди! Они не понимали, что такое значит и к чему поведет меня моя жизнь? Я наконец

убегал от них. Но все, что было вокруг моего благодетеля, также не терпело меня. Напрасно уступал я его племяннику, сносил оскорбления от этого шалуна, от его приверженцев, которые видели в нем будущего своего повелителя. Ничто не помогало. Я не смел тревожить моего благодетеля, открывая ему свое мучительное положение, но терзался и был несчастлив, когда столько людей мне завидовало...

За все это мог бы вознаградить меня тот мир, в который свободно переносился я, — мир фантазии, мир художника. Я тщательно изучал под руководством моего просвещенного благодетеля все переходы этого мира в истории человечества. Тщательно учился я живописи. Без всякой корыстной цели, без предположенной системы рисовать сперва головки и ножки, заметить потом, в чем я более успеваю, перейти после сего к исторической, шевалетной, миниатюрной, пейзажной и бог знает какой еще живописи, избрать себе после того образцом какого-нибудь великого или не великого живописца, скопировывать его — изучал я живопись. И не живопись изу-

чал я, но искусство как искру божественную, запавшую в душу человека, как вечную идею, развивавшуюся всюду в мире, на Востоке, в Греции, в Средних веках. Я замечал все эти развития искусства, изучал мир, современный каждому его периоду, каждому его месту на земле, и хотел наконец угадать: что должен делать художник теперь, в наше время? Уверенный в том, что творение дважды не повторяется, что возрасты человечества также не повторяются однообразно, но совершаются отдельно и самобытно, как развитие бесконечного, окончания чего не можем мы угадать, а начала не знаем, я хотел знать требование моего века. Но, к несчастью, великое и прекрасное не суть следствие изысканий и соображений. Это вдохновение безотчетное, пророческое какое-то чувство, которое творит и создает невольно. Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую, и терялся в размышлениях, мучился, терзался; силы его ослабели — он уснул. Тогда явилась ему Пресвятая Дева в том небесном виде, в каком он изобразил ее на изумление векам. Рафаэль вскочил с своего ложа. "Она здесь!" — вскри-

чал он, указывая на полотно. И в забвении самого себя схватил он кисть и краски, забыл все, переносил свое видение на холстину, облакал мечту свою в очерки, в краски... Он творил, а не думал уже о том, как творить. Я верю этому происшествию, верю и тому, что великое "Преображение" его было тайною, мучительною мыслию всей его жизни; в этом я также уверен. И тогда только, когда душа его затосковала о близкой разлуке с миром, Рафаэль умолил божественное вдохновение сойти в младенческую душу его. Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле, в громах и молниях, и сожгло его: вспомните, что "Преображение" недоконченное было поставлено при гробе Рафаэля — он не досоздал его и лежал перед ним мертвый — великое свидетельство, что может человек; печальное доказательство, чего не может он перенести!

С другой стороны, грустная механика искусств есть свидетельство, что с началом жизни зреет в человеке и начало смерти, что бытие его есть борьба живительного начала и начала разрушительного. Вы не поверите, если вы сами не изучали искусства какого бы

то ни было, что за бездна тяжелой, ничтожной, механической работы предстоит художнику, пока звуки его инструмента будут составлять пленительную гармонию, пока резец его станет вырубать из камня идеалы красоты, пока краски его заблистают жизнью в картинах. Природа лишена ума, но ей отдано владычество над вещественностью; человеку дано царство ума, но вещественность — враг его. Прислушайтесь, как ветер безумно вьется около струн Эоловой арфы и безотчетно извлекает из них звуки — как это легко ему! И как же трудно человеку обезуметь в изящном, чтобы так же безотчетно играть на великих струнах вещественности! Эта механика искусства долго не покорялась мне, потому что я самовластно требовал ее покорности, а не рабски торговался с нею на маленькие уступки. Я хотел вырубить Кельнский собор одним ударом, из одного камня, забыв, что такого камня нет в природе и что этот собор строили тысячи людей триста лет...

Все мучения, все несогласия моего внешнего и внутреннего мира увеличились, когда я переехал в Петербург с моим благодетелем.

Что такое называете вы обществом людей? Не знаю; но, по-моему, это собрание народа, соединенного для вещественных польз — только для вещественных. В этом обществе есть место купцу, чиновнику, даже будочнику, а нет его ученому, если он не учитель, художнику, если он не ремесленник, поэту, если он не poeta laureatus [3]. В провинции эта цель жизни общества так грубо, так нагло открыта, что чувство собственного достоинства спасает вас. Не так в столице. Там, возведенная на высокую степень внешней образованности, грубая цель жизни до того закрашена, до того залакирована, что надобно высокую философию, чтобы не увлечься в вихрь ничтожных отношений общества или не упасть духом, видя себя без места в этом мире, строжденном из вещественных отношений всякого рода. Все страсти там разочтены; все требования души и сердца дают подписку действовать в силу общих условий и забывать собственную свою волю. О! как возненавидел я тогда этот большой свет, увидев его, узнав его, возненавидел еще более, нежели ненавидел прежде грубую жизнь провинци-

ьяльную! Там я мог презирать; здесь образованность, богатство, знатность не дозволяли мне отрадного чувства презрения. Здесь невольно рождалось во мне страшное, тяжкое сомнение: не ошибся ли я? Не эта ли жизнь есть, в самом деле, истинное назначение человека? Если же она и не назначение его, но люди условились в этом — условились все, дураки и умные, богатые и бедные, — что могу сделать один я в толпе их?

Благодетель мой по месту, какое занял он в Петербурге, был в самом блестящем кругу. Все было рассчитано и условлено между им и обществом. В этом расчете и племянник его, с своим новым, блестящим мундиром, с своим светским образованием, с своими требованиями на успехи в свете, получил свое значение; и камердинер горделиво стал у дверей, для того чтобы докладывать своему барину о приходящих; и швейцар спокойно остановился подле своей конурки, как будто говоря: "Прошу не трогать меня, я на своем месте!" Где же мог поместиться я? Люди хотели знать: что я такое подле моего благодетеля? Племянник его мог отвечать: "Я глупец и ша-

лун, но я его племянник и наследник!" Люди вежливо кланялись ему. Если бы я сказал им: "Я художник; я потому в вашем обществе, что благодетель мой знает мою душу!", люди изумились бы. Душу? А ее-то тщательно прятали они друг от друга! Художник! Но что такое были для них искусства и художества? Забава от нечего делать, средство рассеяния, что-то вроде косморамы, на которую смотрят они сквозь шлифованное стекло, требуя от нее условной перспективы.

В Петербурге я осиротел и во внешней жизни. Занятия по службе и большой свет теперь более прежнего отвлекали от меня моего благодетеля. Нам редко удавалось жить вместе. Утро, обед, вечер всего чаще бывали у нас отняты. Я играл жалкую роль, являясь утром, когда толпились у него деловые люди; в обед, когда собирались к нему люди равные ему; вечером, когда съезжались к нему убивать время за картами и сплетнями. Это общество было нестерпимо холодно, как крещенский мороз. Но оно же показывало мне и безмерную неравность в отношениях между мною и благодетелем моим; оно и разделяло

нас бездною неизмеримою, бездною состоя-
ния, занятия, отношений, приличий. Тогда
только, с ужасом, узнал, заметил, увидел я все
это! Я видел, правда, и то, что благодетель
мой сам терзался от своего нового рода жиз-
ни. Как часто, оставаясь со мной, он по-преж-
нему спешил делиться душою и сердцем, от-
дыхал в разговоре со мною, в чтении, в сужде-
нии о моих занятиях, о моих мечтах. Но он
приметно бременился своею жизнью, тяже-
лою, заботливою, блестящею и пустою, как
японская ваза, расписанная яркими цветами:
она светилась насквозь, и в ней ничего не бы-
ло, кроме пустоты...

Если я сказал вам, что меня убивал взгляд
людей на искусство, скажу, что еще более
убивал меня взгляд на искусство современ-
ное. Видя, что ему нет места как положитель-
ному занятию в жизни общественной — бед-
ное! как оно гнулось, изгибалось, какой позор
терпело оно, чтобы

только позволили ему хоть как-нибудь су-
ществовать! Начиная с самого учения, оно де-
лалось чем-то похожим на горшки с цветами,
которые ставят на окошках для того, что на-

добно ставить их и что можно притом похвалить хорошим фарфором, редкими, хотя и уродливыми, заморскими растениями и красивыми, дорогими цветочницами. Оно походило на колонны, которые ничего не поддерживают, но стоят близ опрятных лачужек петербургских и подле огромных домов — алебастровые карикатуры мраморных колонн греческого Парфенона и римских вилл, поставленные для того, что в Афинах и в Риме их ставили! Начинают теперь гнать схоластические и классические формы из нашей литературы, но в художествах они царствуют у нас беспрекословно, самовластно. И при них ли что-нибудь может родиться? При них ли развиться самобытности века и народа, когда при том смотрят на художества, как на прихоть роскоши; когда художники делают из своего занятия или profession и должность, или ремесло.

Наши аматёры были для меня еще несноснее! Глупец решительный, совершенный глупец, для меня сноснее, нежели глупец, который хочет умничать. Они, эти восковые души, эти конфетные сердца хотят быть литера-

торами, поэтами, художниками? Я много читал сатирических описаний, как светские люди дают концерты, разыгрывают театральные пьесы, занимаются живописью, музыкою, — но все еще, кажется мне, этот предмет далеко не истощен — и неистощим. Пусть бы они переводили гравюры на свои модные столики, разрисовывали цветами бархат для своих ридикюлей, играли в своих аматёрских концертах пьесы, которые, как попугаи, твердили они тысячу раз и вытвердили наконец... Нет! они хотят еще вдохновений, настоящих занятий литературою, и живописью, и музыкою! Им мало альбомных стишков, мало карандашных копий с эстампов, в которых мечтают они видеть творения Рафаэля, Доменикино, Мурилло; мало котильонов и вальсов, переделанных из чудных тем Россини и Вебера! Они судят, они сами творят безобразные свои недоноски, своих кукол, одетых в лоскутья пошлого подражания! Они собирают себе галереи, где им все равно — изысканный Тициан, фламандская мясная лавка, приторная Ангелика Кауфман, и великий Мурилло, и страшный Доменикино — рядом с ними! Они

говорят: "Я купил прелестного Гвидо Рени — я променял своего Караваджо — я получу завтра прекрасного Тинторетта..." От всех этих людей... я бегал без оглядки. Но я попадался к художникам *ex professo*, по должности, по назначению, потому, что их учили живописи и благословили быть живописцами, укрепив это дипломом. И как же иначе? Они высидели в школе положенные годы, прошли натуральный класс, они умеют рисовать с бюстов и статуй, они дерзают списывать произведения божественных гениев — они, они списывают Корреджио и Рафаэля, Мурилло и Доменикино! Послушайте: это было мне нестерпимо больно. Да! волосы становились у меня дыбом, когда я видел все это, слышал обо всем этом! Дрожь пронимала меня, когда я видел ученье по ланкастерской методе особого рода, ученье, где начинали копированьем ушей и глаз, отрезанных от картин Рафаэля, и выходили слепые; но хотели судить! Да, судить, по известной мерке, по тому, что слышали они в классах, и писать на заданную тему, как пишут акrostихи, дистихи, мельестихи, шарады. И об этом живописном буриме с важно-

стию толковали потом; сличали, как изобразил тот или другой предмет тот или другой известный живописец и что у кого умел занять себе новый художник: от Снейдерсовой ли собаки заимствовался он хвостом, от Поль-Поттеровой ли коровы взял он главное украшение картины! И дело решал знатный барин какой-нибудь, великолепный любитель, бросая сколько-нибудь денег отличенному мазилке! "Если бы у нас были меценаты, ему подобные; если бы у нас было всегда такое ободрение; если бы у наших живописцев были всегда такие выгодные работы!" — восклицало собрание других мазилок.

Да неужели Рафаэль создавал потому, что папа задавал ему работу для ватиканской галереи и для фламандских ковров? Неужели Корреджио лучше создал бы свой исполинский мир в Пармском соборе, если бы ему заплатили за него сотни тысяч? И разве вам самим не задавали создания великолепных храмов, вековых памятников, святых иконостасов? Что же вы сделали? И неужели, в самом деле, вы уже такие нищие, которым есть нечего? Дайте им поскорее жалованье, ради

бога, обещайте пенсию, когда они состарятся! Но за то велите им мести мостовую или вязать кружево — только запретите им приниматься за кисть. Они убьют искусство. Оно и то еле дышит!

Вы видите, что я должен был со всеми перессориться, потому что я не скрывал своих мнений, истинные или ложные они — не знаю. С досадою спрашивали у меня после того собственных моих созданий, а я с горестию видел, что ничего не могу представить, что, утопавший в море идей и идеалов, я работал неумоимо, жег себя в работе; но уже самое то губило меня, что я поставил цель свою недосяжимо высоко и стыдился всего, что было ниже моей цели.

Наконец, я не мог более выносить ни других, ни самого себя. Я хотел просить благодетеля моего: позволить мне уйти пешком за границу, в отечество Дюреров или Рафаэлей; просить его, чтобы он забыл обо мне, как желал я, чтобы весь свет обо мне забыл! Я хотел сказать ему, что если я буду достоин его надежд на меня, его родительской ко мне нежности, то имя мое скажет ему моя слава! Если

же нет, если мне суждено упасть, погибнуть под бременем самого себя и несбыточных моих мечтаний, то да позволит он совершенно-му забвению скрыть мое имя и даже то место, где успокоится голова его безумного Аркадия, которого судьба с детства тащила насильно на погибель! Но я не смел говорить всего этого моему благодетелю, ибо чувствовал, что я нужен ему для утешения его больной души. Без меня он остался бы совершенно одинок...
Время проходило.

Его здоровье видимо наконец расстроивалось от несвойственного образа жизни, от трудных его занятий. В один вечер мы остались с ним одни. Он не велел никого принимать, чувствуя себя особенно нездоровым. Он рассматривал мои новые эскизы, говорил с жаром, с каким-то особенным чувством... он так любил меня, он так хорошо меня понимал!

"Аркадий! — сказал он мне. — Я не хочу скрывать от тебя радостной для нас обеих вести. Я думал было изумить тебя нечаянно-стью, но не буду отнимать нескольких приятных дней ожидания для того только, чтобы

тем сильнее поразить тебя потом известием неожиданным. Знаешь ли, что я подал просьбу об отставке? Слушай далее: едва получу отставку, немедленно едем. Хочу поселиться в Италии. Здоровье мое расстроивается совершенно. Мне не для чего беречь его, но зачем же и быть самоубийцею".

Говорить ли мне о моем восторге? Я целовал руки моего второго отца, я едва не плакал от радости. Италия, Италия!.. Мы проговорили с ним до глубокой ночи. Мой благодетель прожил некогда года два в Италии. Он много рассказывал мне вообще о своих путешествиях, об Италии особенно. Теперь мне усладительно было вновь услышать от него все, что уже слышал я прежде. Наконец он встал, простился со мною, взял свою ночную лампадку. Все в доме давно уже спали. Мы были с ним одни совершенно. Выходя из комнаты, он вдруг остановился... Как теперь помню я этот бледный свет, упавший от лампадки на его бледное, задумчивое лицо! Он еще раз взглянул на меня, улыбнулся, протянул ко мне руку и сказал четыре стиха любимого своего поэта:

*Du missigonnst
Dem Bild des Martyrers den
goldnen Schein
Um'es kahle Haupt wohl
schwerlich; und gewiss,
Der Lorbeerkrantz ist, wo er dir
erscheint,
Ein Zeichen mehr des Leidens, als
des Glucks!..[4]
Геме.*

Что такое были эти слова? Предчувствие, страшное предвещание будущей моей участи, изреченное устами того, кто вырвал меня из растительной моей жизни и указал мне на достоинство человека?.. Это были последние слова, слышанные мною от моего благодетеля!

Я ушел в свою комнату; грустное впечатление последних слов скоро пролетело, я вспомнил о предстоящем путешествии, голова моя была в жару, я не мог спать, ходил, думал, мечтал... К утру только заснул я... Просыпаюсь, услышав рыдание... это был Семен Иваныч... Он стоял подле моей постели и не мог выговорить ни одного слова... И без слов его я

понял ужасную истину... "Он умер!" — вскричал я вне себя. Бросаюсь в спальню благодетеля моего... Тих, спокоен был лик умершего; задумчивая улыбка застыла на устах его... Смерть не смела стереть этой улыбки. Он был теперь счастлив... он рассчитался с жизнью...

Аркадий не мог более продолжать, закрыл лицо руками и тихо плакал. Крупные слезы текли между его пальцами — так крепко прижал он руки свои к лицу... Я не в силах был выговорить ни одного утешительного слова. Всякое утешение казалось мне оскорблением священной горести, какую чтит он память незабвенного для него человека.

— *Oui, ma douce amie, malgre l'absence, les privations, les alarmes, malgre le desespoir meme, les puissants elancements de deux coeurs l'un vers l'autre ont toujours une volupte secrete, ignoree des ames tranquilles. C'est un des miracles de l'arnour de nous faire trouver du plaisir a souffrir, et nous regarderions, comme le pire des malheurs un etat d'indifference et d'oubli qui nous oteroit tout le sentiment de nos peines...[5]*

Ж. Ж. Руссо

— **И**ли я создан иначе, или неправду говорят, что величайшая горестъ всегда безмолвна. Нет! после первого оцепенения какого-то, продолжавшегося несколько минут, походившего более на душевное несуществование, нежели на скорбь, я зарыдал, слезы мои полились, как будто душа моя хотела выхлынуть с ними через глаза мои. Три дня плакал я, почти не переставая, почти не отходя от бездушного трупа того, кто столько лет

был моим провидением...

Я едва замечал, что делалось вокруг меня. Помню, что слуги моего благодетеля горько плакали; что великолепная процессия шла за гробом его по Петербургу, что люди подходили, спрашивали: "кого хоронят?" — слышали имя и спокойно шли, кто куда шел, иной на рынок, иной в суд, иной прогуливаться — дело обыкновенное! Воротясь с кладбища, заперся я в своей комнате. Во все эти дни только однажды приезжал племянник, теперь наследник моего благодетеля. Потом явился он на похороны, провожал тело покойника и прямо с кладбища уехал куда-то. Я не начинал с ним говорить; он как будто не замечал меня. Мы были с ним чужие.

Сырой, пасмурный был этот день. Наступил вечер, тяжкий, грустный. Безмолвно ходил я по своей комнате, в ужасающем одиночестве. Ни прошедшее, ни настоящее, ни грусть, ни печаль, ни мысль о будущем, ничто не втеснялось в мою душу. Во всем доме было безмолвие, приводившее в трепет. Ничто не шелохнется в этом жилище, еще недавно оживленном деятельностью жизни,

ума, сердца! Кабинет моего благодетеля был запечатан. Казалось, что с смертью его все умерло — умер и я! Уничтоженный, как будто несуществующий, ходил я по комнате, ни о чем не думал и не мог думать.

Бесчувствие мое было столь велико, что я не заметил, как вошел ко мне какой-то угрюмый незнакомый человек. Его провожал старик камердинер покойного. Угрюмый незнакомец объявил мне, что отныне ему препоручает все имение свое племянник покойного, что все распоряжения и доверенности прежнего владельца уничтожаются, и все дела поступают к нему, г-ну управляющему. Хорошо; но что же мне была за надобность до его дел? Я молчал, смотрел на незнакомца; он принужден был сам начать продолжение своей речи и сказать мне, что доверителю его не угодно оставлять за собою этого дома, что он его отдает в наем, что для этого надобно очистить дом, а посему и просят меня выехать из него немедленно.

Да! какая глупость! С чего вздумал я сюда воротиться с кладбища? Как мне было не знать, что с смертью моего благодетеля для

меня все было кончено; что мир вещественный должен был теперь схватить меня и мстить мне за то, что столько времени я не жил в нем? Эта мысль пролетела в голове моей, когда мне объявляли, что меня гонят из дома, где провел я столько лет с моим вторым отцом... Счастливо или несчастливо? На что спрашивать: у меня было сердце, понимавшее меня, была целая семья чувств в этом сердце... Теперь — одинокость, страшное уединение души и сердца — и страшное лицо мира, с его двумя тусклыми, помраченными от низких страстей очами, на которых не ищите божественного отблеска первосоздания! Мне казалось, что я видел уже эти два глаза, на меня устремленные, чувствовал холодное дыхание мира и людей на моем сердце, замечал, как две огромные руки ничтожных забот о жизни обгибаются вокруг меня, хотят схватить, поднять меня, и мир злобно хочет после того смеяться над моею беззащитностью, моим сиротством, держа меня в страшных своих когтях... Холодный пот выступил у меня на лбу. "Но посмотрим, — думал я, — посмотрим, что ты сделаешь со

мною, мир? Я от вас ничего не потребую, ничего не захочу, люди! Тяжко тому, кто чего-нибудь хочет, и ему этого не дают; а кто ничего не хочет, ничего не требует?"

"Долг мой был предупредить вас, милостивый государь", — сказал мне наконец незнакомец, удивляясь, по-видимому, моему молчанию.

"Я слышал все это", — отвечал я ему.

"Итак, благоволите приказать убрать ваши вещи".

"У меня ничего здесь нет, милостивый государь, — отвечал я, — никаких вещей. Все, что вы ни видите, принадлежало моему благодетелю — теперь принадлежит все это его наследнику".

"Он позволяет вам взять с собою все, что было подарено или поступило во владение вам из движимости его покойного дядюшки. Вместе с тем прошу объявить: не имеете ли вы каких документов, по которым вам следовало бы получить какую-нибудь сумму или что-нибудь отдельно во владение?"

Я чувствовал, что лицо мое загорелось.

"Документов никаких я не принял бы, и

благодетель мой не стал бы мне давать их, — отвечал я. — В течение многих лет, пока я жил в его доме, подарил он мне несколько книг, несколько эстампов — вот эти золотые часы. Я готов все это отдать..."

Я вынул часы из кармана и осмотрелся кругом по комнате, где лежали мои любимые книги и портфейли. Странное чувство! Как грустно стало мне, когда я подумал, что мне должно будет со всем этим расстаться, со всем этим, что столько лет составляло часть моего внешнего бытия! И это чувство могло вгнестись в душу мою, когда я был убит горестью о потере моего благодетеля? Но это чувство есть в сердце человеческом: мать плачет сильнее, видя игрушку, которою играл сын ее; слезы каплют Чаще, когда мы смотрим на столик, за которым видали прежде милое нам существо, которого теперь уже нет...

Стыдитесь за меня!

"Надеюсь, что все эти безделки отдадут мне?" — сказал я. Да, я сказал это, когда за минуту столь горделиво готов был объявить миру: "Я ничего от тебя не требую!"

"Разумеется", — с улыбкою отвечал мне

незнакомец.

Он ушел, а я ходил по комнате. И в это время место прежнего безмыслия вдруг заступил в голове моей хаос различных мыслей. Они летели, пролетали, сверкали, пересекали одна другую. Прошедшее, настоящее, будущее — все было возбуждено коротким разговором с незнакомым мне новым управителем дома. "И после тебя начались обыкновенные действия людские, как будто после самого ничтожного человека! Где же следы, где истинная память твоя? Для чего же ты жил? — думал я. — Для чего я живу? Что было твое бытие, твое истерзанное, обманутое жизнью бытие — и мое? — невольно прибавил я. — Завтра идти из этого дома... Куда? Зачем? Надобно жить! Для чего? Что мне в будущем?"

Это был пароксизм какого-то нравственно-го бесчувствия, жгущая лихорадка души. Думаю, что если бы в эти минуты кто-нибудь подал мне пистолет... хладнокровно спустил бы я курок, приставив дуло пистолета ко лбу, и не понимал бы в то же время, для чего я это делаю! Как хорошо знал подобное состояние души Байрон!..

*...Vacancy absorbing space;
And fixedness without a place...
...Silence, and a stirless breath.
Which neither was of life nor
death;
A sea of stagnant idleness,
Blind, boundless, mute and
motionless!.. [6]*

Но это не было еще последним расставанием с жизнью. Сколько времени этому прошло? Пять лет, да, пять лет — я многого еще не знал тогда! Жизнь так дешево не дает отпусковых. У меня оторвалось тогда только полсердца; но человек может жить, пока остается у него хоть маленький кусочек сердца. Только тогда он умирает, когда этот последний кусок разорвется. А пока человек еще жив, ему надобно жить. Я пережил тяжкую минуту бесчувствия и после того не мог уже умереть. Жизнь опять подкралась ко мне. Душа моя пустила новые побеги; жизнь усеяла их новым пустоцветом...

Она сошла ко мне прежде всего благодетельным сном. Я забылся — уснул. А когда я проснулся, сквозь зеленые занавески окна

пробивался луч едва только восходящего солнца, и этот луч осветил мне будущее какою-то отрадою, сказал мне, что между мертвым и живым нет более отношений. Живому жить, мертвому тлеть. Мне казалось, что совершившееся недавно уже перешло в область отдаленных воспоминаний, что благодетель мой умер уже давно. И что такое давно? Разве не мысль человеческая меряет его? Разве она не может раздвинуть минуту на целый век и целый век сжать в одной минуте?

Теперь сидел я в креслах своих, где провел несколько часов, забывшись сном, сидел мрачный, но — бодрый и здоровый. Вчерашние слезы мои высохли. "Пойдем отсюда! — думал я. — Пойдем, сыщем себе пристанище!" Тут, машинально, рука моя обратилась к моему бумажнику. Я вынял его, развернул: в нем лежала ассигнация 25 рублей; я вынял мой кошелек: в нем был рубль серебра и несколько серебряной мелочи. Все это оставалось у меня от денег, которые ежемесячно давал мне благодетель мой на мелкие расходы. Я разложил эти деньги перед собою. "Тут будет у тебя столько, чтобы не умереть с голода на

первый раз... — думал я. — А там?., а там..."

Уныло склонилась голова моя. "Что же потом? Работать для насущного хлеба?" Я содрогнулся. Дверь тихо растворилась. Осторожно вошел ко мне Семен Иваныч. Его седые волосы, франклиновский вид, его черное с плерезами платье, красные от слез глаза (он не переставал плакать, уединяясь от всех) — в первый раз все это поразило меня. Со времени кончины моего благодетеля я почти не замечал моего доброго Семена Иваныча — неблагодарный! Что же теперь? Семен Иваныч, по обыкновению, нес ко мне маленький мой кофейник, чашку, молочник на маленьком серебряном подносе.

"Батюшка, Аркадий Иванович, — сказал он мне, — услышав, что вы изволили уже встать, я принес к вам ваш Кофе".

Поверите ли, что это меня растрогало, обрадовало? Еще раз прежнее, хоть во внешнем, как будто ничто не изменилось вокруг меня! Еще человек близкий ко мне.

"Но почему же узнал ты, Семен Иваныч, что я уже встал?"

"Я, признаться, батюшка, видя, что вы

очень обеспокоены, спал у вас подле дверей. Вчера этот новый управитель так грубо поступил с вами — я боялся..."

"Садись, Семен Иваныч, — сказал я, почти до слез тронутый добротой старика, — полно говорить об этом. Мы должны расстаться, мой любезный Семен Иваныч!" — продолжал я, протягивая к нему руку.

Я хотел только пожать его руку; он бросился целовать мою. Поспешно отдернул я руку и вскочил с места.

"Нет, нет! это невозможно!" — вскричал я.

"Батюшка, Аркадий Иванович! — сказал мне старик, — простите моей дерзости! Вы мне не приказываете говорить об этом, извольте прощаться со мною".

"Что делать, мой любезный Семен Иваныч! Общее несчастье наше..."

"Оно, конечно, велико; я все еще не могу удержаться от слез, да и в целый век об этом не наплачешься, но отчаяние — грех пред богом, тяжкий грех! Вам особенно, когда вас бог одарил всеми благами, умом и красотой (старик и теперь уверен, что я величайший красавец), вам будет еще жить хорошо, а мне —

остаётся жить немного, следовательно — тоже хорошо!"

Что мог я сказать на это? Открыть ему, этому простодушному старику, состояние души моей вполне? Или, для увертки, сказать, что у меня есть нечего, и оттого так грустно смотрю я на будущее? Напротив, его простые слова: "Отчаяние есть грех пред богом!.." Что мог я возразить на сии слова? Разве не отчаянием, не грехом должно было назвать безотчетное, тревожное состояние души моей, самое себя терзающей? Сказать же, что меня сокрушает неименье денег, голодная смерть в будущем, когда у меня были две здоровые руки — стыд!

"Батюшка, Аркадий Иваныч, — начал старик, помолчав немного, — не отриньте вы моей просьбы: я весь тут, у меня нет ни роду, ни племени. Барин давно уже дал нам всем отпускные, когда еще здравствовал: я свободный человек; да куда я пойду? Позвольте мне жить у вас; я еще могу служить вам не хуже молодого. Вспомните, что вы на руках моих выросли: вы не захотите и теперь расстаться со мною. Не правда ли?"

"Любезный Семен Иваныч! на что тебе

подвергаться на старости лет труду и беспокойству!"

"Какое же беспокойство? Простите моей дерзости: ведь я всегда почитал вас своим сыном; думаю, что и теперь могу еще быть для вас полезным. Вы совсем не знаете хозяйства; я хотел заменить вас собою, чтобы вы могли между тем, по обычаю вашему, на свободе думать и писать, ваши прекрасные картины, как было при старом барине".

"Я сам еще не знаю, где я буду жить, — сказал я, — и чем жить!" — едва не вырвалось у меня.

"Не знаете? А я так почти знаю, — отвечал старик, усмехаясь. В изумлении взглянул я на него: он оробел, смешался. — Я думал, что вы позволите мне жить с вами и приготовил было для вас и для себя квартирку, по вашему вкусу, прекрасную, веселую... простите меня! — Старик сложил руки с умоляющим взором. — Я знал, что у вас теперь нет денег. У меня, во время моей службы у барина, скопилось до двух тысяч рублей. Они лежали в ломбарде. Вчера я взял их оттуда, нанял квартиру; вот остальные деньги на разживу нам... О!

у вас под руками золото будет родиться, а теперь... Батюшка, Аркадий Иванович! не откажи: утешь меня, старика! Вспомни, что душа моя "жила с тобою, что я столько лег ходил за тобою, как за родным..." — Он хотел стать на колени.

Я бросился к моему старому другу и обнял его, этого слугу, — он был выше в это время, гораздо выше многого, что называют люди высоким! Я обнял бы его перед целым миром и горделиво сказал бы: "Обнимаю человека". Отказаться от такого предложения я не мог, более — оно согрело душу мою, мир умел подкрасться ко мне в виде этого старика, под личиною добродетели.

С тех пор мы уже не разлучались. Немедленно пошел я с ним осматривать мою новую квартиру. В самом деле, Я увидел несколько веселеньких комнат. Семен Иваныч в тот же день перевез мои вещи, устроил маленькое хозяйство. Началась новая жизнь моя. Горесть моя успокоивалась мало-помалу и превращалась в грусть и унылую память о былом. Опять все возрождалось теперь в душе моей. Около года жил я в глубоком уедине-

нии. Чего не передумал, не перечувствовал я в это время! — Я узнал теперь прежде всего, как мало было надобно человеку для вещественной его жизни, о которой столь много заботятся люди. Семен Иваныч доставил мне некоторые работы, и этого достало мне прожить год. Двум-трем богатым купцам надобны были портреты их самих, жен их, детей; каким-то поэтам надобны были картинки к их поэмам. Механически сделал я все это и никуда, ни к кому не ходил. Все еще не было мною решено, что мне делать с самим собою? В этот год снова переучил я все, что знал, перемыслил, о чем думывал прежде. Множество эскизов, рисунков, этюдов сделано было мною. Темная мечта — ехать в Германию и Италию — становилась, однако ж, постоянно моею мыслию. Я хорошо знал наш художественный мир и не хотел вступать в него. Но все это — мысли, мечты, предположения, ученье мое, — все было так неполно, мертво! Художник без живых страстей и ощущений, художник-мизантроп, какое-то недовольное создание, критически изучающее свое искусство, художник, который насильно старает-

ся разочаровать мир и природу и носится в неопределенных безднах между небом и землею, — что это такое? Все что угодно, но не истинный художник. Фридрих пишет пустыни безлюдные, дикие, необитаемые — часто изображает он просто одно бесконечное море, но, посмотрите: тут есть, однако ж, клочок земного берега, тут нет людей, но есть земля их, и на ней видны остатки разбитой лодки, и чайка носится тут над каким-нибудь полуразрушенным крестом, а под этим крестом могила, и в ней.

*Под мягким дерном гробовым,
Спит сердце, некогда земным,
Смятенным пламенем согрето!*

Правда, и у меня была в мире могила, единственное место, куда ходил я гулять, могила незабвенного; но она молчала, он молчал! А душа моя требовала живого ответа, звала к себе живую душу! Где же была эта живая душа, друг моей, моя? Я вопрошал и могилу друга моего, и мир: могила его не отзывалась мне, а мир шумел вокруг меня и не ду-

мал замечать моих скорбных воплей.

Однажды вечер был прелестный: один из тех вечеров петербургских, по которым лета петербургского не променяю я на лето одесское или таганрогское, теплое, но богатое жаром, пылью и мухами. Проведя целый день в уединенной работе, я отправился на кладбище; дорогою встречалось мне так мало народа; на кладбище совсем никого не было: помнится, тогда весь Петербург гулял на островах, где показывали ему разные диковинки — фейерверки и еще что-то такое; о кладбище ли думать в это время петербургскому жителю, который за фейерверком готов скакать двадцать верст и только одного не променяет на гулянье: свидания, назначенного знатным человеком, в его передней! Меня радовало, что решительно никто не встречался со мною на ниве божией: мне было так свободно на ней одному доспрашивать ответов у самого себя, беседовать с могилою моего благодетеля. Шумный город остался за мною, в городском тумане. Уже долго сидел я и мечтал на гостеприимной могиле моей. Ее не тяготил еще тогда великолепный памятник, какой постави-

ли на ней после. Меня не отчуждала еще от нее золотая надпись, где исчислены ордена и чины покойника, а не сказано, какое сердце скрывает эта драгоценная могила, какого человека прах тлеет в ней! Я забыл самого себя в усладительной тишине этой природы, в тихом спокойствии этой могилы. Природа, меня окружавшая, на этот раз — казалось мне — не была мертва: она дышала так понятно, весело, так тепло веяла она вокруг меня! Мне казалось, что я чувствую даже биение пульса ее, что он отзывается мне даже и в этой холодной могиле, что каждая травка, смятая моею ногою, говорит мне: "Не презирай, не уничтожай меня — ведь я жива!"

Тут легкий шелест шагов слышался вблизи. Оборачиваю голову: девушка в черном платье идет поспешно, не видя меня; лицо ее закрыто вуалем...

Знаете ли, что я никогда не любил и теперь не люблю женщин? Я не люблю женщин, эту касту, эту секту (как называет женщин наш милый поэт, воспевавший их, будто ангелов, ненавидевший, будто демонов). Женщина! Кто из них самих не рассердится за та-

кое название? Сами они не любят его: им хочется в ангелы, в человеки, в матери. Тогда только жалобно говорят они: "я женщина", когда раздраженная ими страшная воля мужчины разрывает цепи, какими они оковывают ее, они, пигмеи, мирмидоны, нарумяненные Омфалы, заставляющие своих Геркулесов пряхсть нитки и целовать башмачки и трепещущие их львиной кожи! О, тогда они говорят тихо, жалобно: "Я женщина!" Переведите на настоящий смысл эти два слова: вы узнаете в них печаль души человеческой, понимающей свое жалкое, бедное полубытие, принужденной слабостью своею защищаться от грома, от молнии, горящих, гремящих в полной душе мужчины. Во всю жизнь мою до того времени почитал я женщин загадкою, которая не стоит разгадки, шарадою, у которой два слова имеют смысл, являют два смысла, если их читать отдельно, и — никакого, если сложить их вместе. Это клавиши, на которых играют страсти мужчин. Самые неприятные воспоминания о женщинах остались у меня от моего детства; я совершенно разочаровался, увидев потом женщин в большом свете. От

аркадских идиллий меня брала зевота. Не хорош наш железный век, но, боже мой! что же был золотой! Только одна женщина существовала в мире, показала миру и унесла с собою из мира идеал, постигнутый потом в вещественных его формах Рафаэлем. Венера Медицейская мне всегда нравилась как кусок мрамора, обделанный для анатомического образчика женского тела; всегда смотрел я на эту статую, как философ смотрит на восковое изображение трупа, изучая в нем физическое человека.

Но теперь, в это мгновение — место, уединение, тишина, черное платье, закрытое лицо — это не была женщина: это была какая-то идея, прилетевшая ко мне на призыв души моей. Незнакомка останавливается, не видит меня, закрытого кустами, которые насадил я вокруг могилы моего друга. Да она и не смотрит никуда — она стоит подле какой-то своей могилы; она становится подле нее на колена — она тихо плачет, приклоняет к этой могиле свою голову... С изумлением, не смея дышать, смотрел я на это создание, на его легкие, прелестные формы... Она что-то шепчет,

говорит; напрягаю слух и слышу только одно слово: "Маменька!" Но как произнесено было это слово! — Милое, милое создание! пусть на одре смерти моей, в последний час моих смертных терзаний, скажут мне его, это слово, произнесут его мне этими звуками — они вдруг украсят всю прошедшую жизнь мою, они усладят мою смерть... "Мать моя!" — скажу я тогда в свой черед природе и засну, как засыпает дитя на лоне своей матери, и эти звуки будут мне предвестником того, что услышу я в небе!..

"Веринька! где ты?" — произнес мужской голос.

"Здесь!" — отвечала тихо незнакомка.

Сколько идей, мыслей, выражений соединилось для меня в одном этом слове? Здесь она — при гробе матери! Где же ей быть? Она неземная — мир в это время смеется, веселится, глядя на паяцев. Там собрались и женщины. Но что ей до них? Ее ищите здесь, здесь, где лежит все, что привязывало ее к миру — берегитесь, не испугайте ее: у нее есть крылья... И она Вера, она пришла сюда, когда и я пришел сюда! И рядом покоятся здесь два дра-

гоценные ей и мне существа! Мы свои с нею; вот они, наши — эти две могилы, доказательство, что мы с нею родные. Откуда пришла она? Кто она? Зачем вдруг исчез весь мир, разделявший нас доселе? Зачем он вдруг столкнул нас, и говорит нам: "Плачьте вместе!" Неужели слезы наши, смешавшись вместе, будут небесною росой, от которой должен снова ожить и расцвести увядший цветок нашей жизни? О! мы обманем мир — он свел нас на грусть и печаль, а мы найдем надежду и радость!

К незнакомке подошел немолодой мужчина. Он казался мне таким добрым. Пристально глядя на него, я ничего особенного не находил в его лице, но что-то необыкновенно доброе и простодушное оказывалось во всех его движениях. Это была поэзия своего рода — народная песня, пропетая добрым весельчаком.

"Я знал, что найду тебя здесь, — сказал он. — Дурочка! Всегда бежит сюда опрометью! Ну, что все плакать? — Он отвернулся и отер тихонько слезу, которая покатилась по его смуглой щеке. — Пойдем! Посмотри-ка,

что за славная эпитафия!" — продолжал он и начал читать забавную надпись на ближней гробнице; но — он притворялся: голос его дрожал.

"Пойдем! — повторил он, но, опираясь на свою палку, не двигался и осматривался кругом. — Много, — сказал он, — много вас, дружки, собралось здесь! И много тут хорошего схоронено!" — Он задумался и произнес несколько стихов — вы знаете, чьи эти стихи?

*Как быть! а всем одно! всех на
пути*

*Застигнет сон... Что ж нуж-
ды? Все мы будем*

*На милой родине! Кто на
кладбище*

*Нашел постель — в час доб-
рый! Ведь могила*

*Последний на земле ночлег;
когда же*

*Проглянет день, и мы,
проснувшись, выйдем*

*На новый свет, тогда пути и
часу*

Не будет нам с ночлега до от-

Никогда эти добродушные, простые стихи не являли мне столько прелести, как теперь! Мне казалось, что я вижу самого сторожа ночного, самого Гебеля, который не сочиняет свои стихи, а так, остановясь на кладбище, думает их вслух.

"Вот и этот был куда славный человек! — продолжал незнакомец, указывая на могилу моего благодетеля. — И памятника никто не поставит, и поплакать никто не придет..." — продолжал он задумчиво.

"Папенька! я всегда молюсь за него, когда бываю у маменьки! — сказала незнакомка, подходя к отцу. — Я знаю, что он был ваш благодетель".

Тень твоя радовалась тогда, второй отец мой! Здесь вдруг билось три сердца, которые не забыли тебя! И он был благодетель отца ее, благодетель ее! Она молится за него! Великий боже! Если ты, тень священная! привела меня сюда, благодворя мне еще и по смерти, привела для того только, чтобы я узнал ее...

Я тихо поднялся с могилы. Нечаянное появление мое, казалось, изумило незнакомца.

Дочь его робко прижалась к его руке. Он смотрел на меня пристально, но спокойно.

"Если не ошибаюсь, — сказал он, — вы Аркадий Иванович, живший у покойного генерала, вот у этого доброго, почтенного человека?" — Он указал на могилу. Лицо незнакомца выражало особенное любопытство.

"Вы не ошиблись. Извините, что я испугал вас, помешал вам, может быть; но вы говорили о человеке для меня драгоценном".

"Ему был я в свое время обязан многим".

"Я никогда не видал вас у него?"

"А я вас знаю... Мы видались".

"Не помню, извините..."

"В училище живописи, у г-на N. N."

Тут вспомнил я, что, точно, мы видались; но я пропускал это лицо без замечания. И что мне было заметить в нем? Оно всегда сидело за вистом, когда случайно я прихаживал вечерами, раза два-три, к N. N., одному из главных учителей в училище живописи.

Мы пожали друг другу руки, как старые знакомые. Старик был отменно словоохотлив; он начал со мною разговор. Дочь его мол-

чала. Он успел рассказать мне, что некогда был определен в училище живописи пособием моего благодетеля. Но потом оставил он свое занятие и потому, когда возвратился благодетель его в Петербург, он уже не являлся к нему. Теперь он был чиновником, рисовальщиком, переводчиком при одном из министерств.

"Но я все-таки, сударь, немножко охотник, аматёр в живописи. Все училище до сих пор мне знакомо. Главные учителя мои старые однокорытники". — Старик засмеялся. Его откровенность, добродушие, воспоминание о благодетеле моем, может быть, всегда сблизили бы нас. Теперь мог ли он мне не понравиться? Он был отец ее — а мне казалось, что душа ее уже давно мне знакома, и все родное ей было родным и мне. Мне все нравилось теперь в старике; нравился даже этот грубый лоск образованности, какой воспитание художника, самого дрянного, придает ему. Так грамотный образованнее неграмотного, хотя бы только по складам читал он. Понравилось мне и то, что незнакомец не мучил меня вопросами: что я такое? где я? Впрочем, повто-

ряю: что не понравилось бы мне, близкое к ней? Странное свойство человека: глупость отвратительна, невежество глупо; но если на них брошено покрывало отношений — глупость кажется добродушием, невежество — первобытною, доброю простотою человека. Человек неумолим, и он же так способен извинять, так снисходителен; и эти две противоположности могут быть в одну минуту, от одного слова, и никакой ум не защитит в этом случае от заблуждения! Нечувствительно пошли мы все вместе, перешли кладбище, вошли в город; разговор наш не прерывался. Незнакомец был шутлив, ласков и словоохотен — я влекся за ним... Чего желал я? Зачем шел? Не знаю, не знаю! Она шла с нами вместе; но что же была мне она? Я еще не видал даже ее лица, не говорил еще с нею ни одного слова, но я и не хотел видеть лица ее. Она могла быть безобразна, урод! Какое мне дело? Я уже знал ее: душа ее сказалась мне на могиле матери ее, на могиле моего благодетеля.

Вдруг остановились мы подле хорошенького, опрятного домика. Я изумился, огляделся кругом.

"Зайдите, сударь, ко мне, Аркадий Иванович, — сказал старик, пожимая мне руку. — Мне очень приятно познакомиться с вами покороче".

Вообще я небрег тогда о моем наряде. Еще менее думал я о нем, идя на кладбище. Я бормотал извинения.

"Ничего, сударь, ничего", — сказал старик, удерживая меня за руку. Мне хотелось бы спросить у нее. Она как будто поняла меня.

"Папенька, — сказала она, — кажется, пора пить чай!" — и проворно пошла вперед. Я пошел за отцом ее.

Редко можно встретить жилище, небольшое, но столь хорошо, мило, удобно расположенное. Коврики, диваны, столики, светлые стекла в дубовых окончиках, цветы на окнах — и эта женская заботливость, видимая повсюду, в шитье по канве синелью, бисером, гарусом, в разных мелочах, доказывающих искусство, вкус, занятие хозяйки. И притом чистота, опрятность, несколько литографий за стеклами, прекрасное фортепиано. Мы сели в диванной, подле небольшой гостиной. Веринька явилась тотчас; она скинула свою

шляпу; я увидел ее вполне.

Много раз после того старался я отдать самому себе отчет: что такое пленяло, очаровывало меня в ней! Нет! она не была урод, безобразна! Милое, привлекательное личико, свежее, как роза, с большими глазами, то принимающими веселое, живое выражение, то вдруг унылыми, задумчивыми, но всего более ничего не выражающими, ибо выражение дают страсти; эфирный стан, маленькая ножка — но у какой же, хоть немного сносной, шестнадцати-семнадцатилетней девчонки всего этого нет? Что же особенно пленяло, очаровывало меня в ней? Что безвозвратно решило судьбу мою? Что? Не знаю: я тщательно изучал лицо Вериньки; я могу изобразить его вам ощупью, если вы закроете мне глаза, и — никогда не напишу я ничего похожего на Вериньку — не напишу ни ее взора, ни ее голоса, ни ее движений, ни ее души. Но все это, отдельно взятое, так просто, так обыкновенно... Боже! как хороша ты, моя Веринька; но скажи мне: что в тебе хорошего?

В первый раз после кончины моего благодетеля мне хотелось участия других. Думаю,

что я говорил тогда хорошо: мы говорили о благодетеле моем, сердце мое невольно высказывало себя. Мы были, как будто давно знакомые. Веринька сидела за столом, молчала, не замечала того, что локон ее, развившись, падал в беспорядке, что легкая косыночка скатилась с одного плеча ее... Она двигала серебряную ложечку по подносу, задумчивая, иногда с участием подымая на меня глаза свои. Когда я говорил о последнем вечере, проведенном с моим благодетелем, на глазах ее навернулись слезы — она поспешно ушла из комнаты. Я простился с стариком и побрел к себе...

Сказать ли вам глупейшее из всех слов, какие только находятся в языке человеческом? Это глупейшее слово — "влюбиться"! Этим словом унизил человек святое имя, которым называл себя сам бог. Так человек унизил великое слово "могу", заменив его словом "должен". С первым исчезло в любви все небесное, с вторым высокая воля человека заменилась невольною обязанностью, и пропало бескорыстное вдохновение добра! Человек был создан из добра и любви, с ними все соединя-

лось у него в первобытной его жизни. Кто был добр, тот любил; кто любил, тот был добр. И любовь роднила душу человека с мертвою природою. Философия не разогреет веры, и не логикою убеждаются в ее святых истинах, но сердцем. Там, в сердце человеческом, воздвигнут алтарь святой веры, рядом с ним поставлен алтарь любви, и на обоих горит одинокая жертва вечной истине — пламень надежды! Без этого пламени солнце наше давно погасло бы, кровь в человеке давно застыла бы, и кометы праздновали бы только погребальную тризну на скелете земли, с ужасом спеша из мрачной пустоты, где тлеет труп ее, спеша туда — выше, далее, где свет чище, ярче, более вечен... Вы дивитесь чудесам в великом, но зачем не наблюдаете вы их в малом? Наша земная любовь не есть ли отблеск любви вечной, огня небесного — украденного, говорили греки, Прометеем каким-то. Нет! он не был украден, этот огонь: он мы — дитя не крадет молока своей матери: его всасывает оно с жизнью!

Я не умел влюбляться: я любил, едва только узнал любовь, как начал жить, едва только

узнал жизнь. Жизнь разлилась во мне с первым моим дыханием, разлилась в мозгу, в крови, в костях моих. Так было теперь с любовью. Я жил с тех пор потому, что любил, и любил потому, что жил. Тут для меня не было ни идеалов, ни отдельного чувства — было все! Вскоре не было и меня, отдельно существующего — была только моя любовь. Вы хотите узнать, что происходило со мною после того? Я любил. Хотите знать, каким образом Аркадий, о котором* рассказывал я вам до сих пор, сделался тем, что вы видите в нем теперь, как мирились и снова ссорились в нем все возможные противоположности, почему всегда хотел ехать и не поехал я в Италию? Отчего видели вы во мне какого-то упавшего, но счастливого своим падением человека, отчего видите теперь почти сумасшедшего? Я любил — и только: более ничего я не знаю. Ни сил, ни памяти моей не останется рассказать вам все то, что заключено в одном слове: любить. Вот несколько лоскутков бумаги, на которые бросал я иногда свои заметки — одну из тысяч!

Аркадий вынял из бюро своего множество

лоскутков бумаги.

"Прошедшее! — сказал он усмехаясь. — Я буду смотреть в этом на самого себя, как на что-то любопытное постороннее. Простите беспорядку, нескладице — иногда я сам ничего не понимал; мне иногда самому казалось, что я на один шаг от сумасшествия... О Веринька! что ты со мной сделала!"

* * *

"Мир в сущности своей лучше, нежели нам кажется; мы сами лучше, нежели мы думаем. Небо и земля, по-видимому, отдельные; но они слиты вместе. Станьте на высокую гору, выше низкой земной поверхности — на земле, однако ж, — и вы увидите, что земля кругом вас сливается с небом. Но "а земле станьте для этого, а не в облаках; иначе земля обовьется для глаз ваших густым туманом земной атмосферы, и вы потеряетесь в бездне этого пустого тумана. Ногу на землю, взор в небо — вот истинное твое положение, человек! Но ты устаешь смотреть в небо? Хорошо; мы не можем глядеть на солнце — меньше ли его очарователен месяц? Заоблачное небо закрыто от нас солнцем, и на эту закрышку смотреть

также нельзя — ослепнешь! Однако ж иногда и на солнце глядеть можно. Надобно только темное стекло. Так на счастье можно смотреть сквозь темноту жизни человеческой, сквозь несчастья. Тогда блеск его не ослепляет. А кому свет счастья нестерпим, тот смотри на месяц; вместо золотых лучей солнца он утешит вас своими серебряными лучами...

Святое должно быть прекрасно; все прекрасное должно быть свято для человека. Если вы без веры входите в храм, будет ли он для вас храмом? И зачем вы пришли в него? Не так ли все прекрасно потому, что вы чистою душою убеждены в этом? После сего есть ли что-нибудь на земле не прекрасное? Для того рождается оживотворенная вера в него — художник. От его волшебного прикосновения то, что на земле казалось не прекрасным, получает красоту, делается изящным.

Если ты любишь прекрасное только в камне, только в красках на холстине, будет ли полна душа твоя? Никогда: ты любишь мертвые формы, ты не знаешь души прекрасного, заключенной в живой жизни его.

* * *

Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь, что только невинность, младенчество души достигнет мира, после которого начнется новое, обетованное царство искусства и знания. Человек ищет истины, роясь в гниющем трупе ума, вооруженный анатомическим ножом. Ему надобно искать его в полноте жизни, искать не наукою, но верою. Мы уже слишком много знаем. — Чувствую, как душа моя начинает отдыхать теперь и как много начал я делать с тех пор, когда перестал испытывать. Какой-то святой огонь радости и тишины греет душу мою. А если я ошибаюсь и если это утомление души? — Нет! это не утомление! Чувствую, что теперь на плечах моих подниму я горы. Вот разница: прежде я отчаивался; теперь надеюсь: Надежда — сестра веры... Какое слово, какое имя! Чье это имя! Подруги любви?

* * *

Однако ж как грубы формы жизни их, формы их мышления! Этот старик, художник по диплому, рисовальщик машин, как мало он знает, как грубо он чувствует! Мне смешно, когда он начинает говорить об искусствах. А

она молчит — и заставляет меня краснеть при мысли: не дура ли она? Но ребенок разве глуп? В нем небесные формы, он только не знает наших выученных фраз. Бог с ними! Не эти ли фразы губили меня до сих пор! Богочеловек призывал детей прямо в царство свое, а нам с какими тяжкими условиями жизни, с каким крестом дозволено думать об этом царстве! Погуби разум свой, разумный! будь дитя... Однако ж это грустно, когда нет ответа душе моей, когда я должен возить тележку детскую или стучать в детский бубенчик, чтобы уравниваться с нею...

* * *

Как я ошибся, как глуп был я! Как устыдила она мою гордость; какое величие души! Я изумлен! Так глубоко чувствовать сердцем, так безотчетно понимать сердцем все великие тайны ума и искусства, так задумываться над великим и потом так добродушно отвечать: "Понимаю, но не знаю состояния души, в котором это может услаждать ее!" Она не знает еще наслаждений страдания! Три часа говорили мы. Она скрывает себя от других. Нет! это не глупое незнание, не холодное рав-

нодушие. Рафаил долго жил в семействе Товии, и никто не замечал крыл его. Так в ней все великое и прекрасное живет с нами. Сколько мыслей возбудила она во мне, сколько разрешила мне одним взглядом! А этот вопрошающий взор, устремленный на меня, когда она не понимает чего-нибудь? А эта радость, когда она начинает понимать, эта детская радость...

* * *

Он совсем не так глуп, и люди, его окружающие, не так глупы. Что лучше: большой ли свет, где все на ходулях и в масках, или этот малый, где люди ходят в первобытных одеждах и не закрывают масками простых лиц своих? Однако ж на вечера их я не пойду более. Мне скучно. Зачем же сидел я там до пяти часов утра? Аркадий! ты можешь привыкнуть, а это дурно.

Зачем теперь не думаешь ты о своей Италии? — Но как я поеду туда? — Пешком идти надобно тебе. — Хорошо, только зачем же? Не сам ли я всегда опровергал нелепость: изучать искусство в образцах? Это та же теория. Разве вдохновение, разве изящное есть ка-

кой-нибудь колдун или кикимора, которые скрываются в развалинах Колизея или пугают из грязи Понтинской? — Но, Аркадий, ты хотел туда ехать, бежать? Ты хотел бежать туда от людей, от самого себя. Но теперь тебе не совсем дурно. Отчего твое довольство собою? Отчего...

* * *

Я не спал всю ночь. Гром и молния, дождь, ветер мешали мне спать. Голова моя болит.

Что за странность! Семен Иваныч уверяет, что ночь была тиха и прекрасна. Можно ли так ясно видеть сны? Но спал ли я? Кажется, нет! — Сомнение есть признак мудрости. — Как глупа эта сомневающаяся мудрость! И как будто мудрость может сомневаться!

* * *

"Бессонница" моя продолжается. Вчера я видел сон и с ужасом вскочил с постели — а он был так прелестен! Чего испугался я? Противоположности с действительным?..

* * *

Неужели обман и мечта — это счастье! Ради бога, уверьте меня, и жизнь моя перед вами — возьмите ее: я все еще дешево куплю

небо на земле! Как она спрашивала меня: почему не был я целую неделю? Как слезы на-вертывались на глазах ее, когда она говорила мне о бледности лица моего! Если это просто участие, что же любовь ее?.. Чувствую, как голова моя кружится; или я сделался солнцем, вокруг которого вертится все... Веринька, милый друг! "Веринька, ты забыла гостей своих", — говорил ей отец. Она заговори-лась со мною. Я хотел уйти, но она так взглянула на меня, что я бросил шляпу, сел в угол и молчал. Как мило щадила она меня, не стараясь вовлечь в разговор, и как украдкою огляды-валась она на меня! А это движение, когда она прикладывает руку к груди, как будто у нее грудь болит... болит... Неужели от этого чувства больно груди? Или грудь человече-ская не привыкла к этому святому чувству? О Веринька! Что ты такое?

* * *

Зачем пошел я к ним сегодня! День грусти и тоски нестерпимой! Она так обрадовалась, когда увидела меня, сделалась так весела, так ласкова ко всем, она прыгала, как дитя. Зачем она не бросилась ко мне и не прижалась к

груди моей? Чего она боялась других? Что тут худого? Я обнял бы ее, как ангелы обнимают ангелов, душа моя так чиста была в то время... Но после этой радости не совестно ли ей было уравнивать меня с другими? Хуже: я казался ей более чужим, нежели все другие! Она убегала моего взора, ничего не говорила со мною... А эти два дурака, которые окружали ее, — они меня взбесили. Зачем она позволяет себе быть с ними всегда веселою, ласковою, а со мной так часто задумывается, молчит.

"Вы меня пугаете!" — сказала она и затрепетала. Разве взор мой сделался страшен в это время? Мне ужасно как хотелось выкинуть их в окошко.

"Что вам за радость говорить с этими дураками?" — сказал я.

"Какое же право имеете вы почитать их дураками и запрещать мне говорить?" — отвечала она.

"Право, Веринька".

В первый раз я назвал ее так. Она, казалось, собрала все свои силы и сказала с негодованием:

"Я всех в мире люблю!"

"Всех?" — спросил я злобно, чувствуя, что готов был позабыться.

"Неужели те, кого мы любим, должны терзать нас?" — сказала она со слезами на глазах, умоляющим голосом и ушла из комнаты.

Я убежал домой. Это невыносимо... Бог с тобой, Веринька! Люби всех. Я могу любить одну и хочу, чтобы она одного меня любила. Сердце человеческое не должно быть постоянным двором, где всякого принимают с равной ласкою: это храм, где воздвигается жертвенник одному. И для кого бесславишь ты святое имя любви? Их любить? Любовь тратить по мелочи?... Как ты жалка, бедная Веринька, как ты бедна, жалкая девочка! Ты смешна мне. Я думал что-то найти в тебе — кланяюсь тебе, хорошенькое личико, — люби всех, люби... Кровь моя бросилась в голову... Презрение — незаконный брат любви, но родной ей по матери.

* * *

Старик заходил ко мне и пенял мне, зачем я позабыл их. Я немедленно пошел к ним, завернувшись в горадиевскую епанчу философа. Ровно три недели я не был у них. Ее не бы-

ло дома. Это меня обрадовало. Я думал отделаться визитом моим. Да и что ей во мне? Она не считает минут моего отсутствия, она не ждет меня, — ей все равно! Отец говорит, что она очень здорова. Горько улыбался я, слыша, что еще вчера, вчера они где-то провели всю ночь, все прыгали, плясали. Зачем не вошла она в эту минуту, веселая, насмешливая? Я никогда бы не явился к ним более. Она вошла поспешно, задыхаясь от усталости, но унылая, печальная.

"Что с тобой сделалось?" — спросил отец.

"Я бежала опрометью, — отвечала она вдруг, — мне сказали, что Аркадий Иванович пришел... я думала, что вас, папенька, нет дома", — прибавила она краснея.

"Какая приветливость!" — подумал я и с досадою взялся за шляпу.

"Вы не будете пить чай у нас?" — спросила она в замешательстве.

"Нет!" — отвечал я грубо.

Отец вышел в это время. Глаза ее обратились ко мне; они, казалось, спрашивали: что значит все это?

"Вы у нас так давно не были".

"Разве вы заметили мое отсутствие? — Она молчала, несносная! молчала! Хоть из учтивости бы сказать: да! — Вы весело проводите время", — продолжал я, едва скрывая бешенство.

"Ах! очень весело!" — сказала она, как будто боясь, чтобы разговор не обратился на что-нибудь другое.

Но я и не думал обращать его ни на что, был хладнокровен, спокоен. Тут, видно, ее рассердило мое равнодушие, и она — женщина! — нашла средство терзать меня! Скрывая досаду свою, с улыбкою она начала рассказывать мне о вечере, где они были. Ничтожная девчонка, стрекоза, бездушное создание! Я выдержал характер: захохотал, отвернулся от нее и ушел в кабинет к отцу ее. Там сидели какие-то старики. Я не видал ее более, потому что через полчаса ушел. Но — стыдись, Аркадий! ты видел ее! Да, я остановился на улице, против окна; она сидела на диване, задумчивая, печальная... Так-то я видел ее в первый раз. Но — клянусь богом! — что я смотрел на нее теперь, как на картинку. Зато дождь промочил меня до нитки. Он заступился за жен-

щину, которая не могла победить твердости мужчины. Желая доказать свое упрямое равнодушие, я стоял и смотрел целый час.

* * *

Она любит меня! Нет сомнения! Ее поступки не кокетство. Но в ней вовсе нет сердца, или она глупая кукла. И ты, Аркадий, передашь себя ей, этой девчонке? Ты помиришься на этой любви, на этом ребяческом чувстве? Разве ты не видишь: она женщина просто. Не мне она, не мне — пусть явится избранный, мишурное создание, вывальсирует с нею из круга людей, объяснится с нею где-нибудь на бале, на прогулке, пусть благоразумно скажет он ей, что обожает ее. Она потупит глаза — карикатура, карикатура! Хохочу, когда подумаю! У нее есть тоже свои дрянные идеалишки, своя кукольная комедия дружбы пансионской — вероятно, и любви, — ей пора сменить одних кукол другими куклами. "Объяснитесь с папенькою, я от себя не завишу". — "Но позвольте ли мне надеяться, что мое желание не возбудит негодования вашего..." Нет! глупее надобно: "Но смею ли думать, что не оскорблю вас..." И в заключение всего: "Как я счаст-

лив!.."

Семен Иванович услышал мой хохот и вошел ко мне. В самом деле, какие глупости пришли мне в голову...

* * *

Чудная Веринька! скажи, кто ты: демон или ангел! Нет! ты неземная — это я знаю лучше самой тебя. Великого не стыдит унижение добровольное. И я понимаю, что ты скрываешься от людей, ты снисходишь к ним, ты равняешься с ними, ты не хочешь оскорбить их, открыв им свое небесное происхождение! Тебя оскорбило бы признание мое: ты думаешь, что словами не выражают чувств, ты чувствуешь, что надобно жить, дышать этим чувством, этою любовью — но не говорить о ней! Сегодняшняя прогулка, где так нечаянно мы встретились, где в толпе людей мы были одни, где мы говорили так мало, где я мог вести тебя под руку, слышать сильное трепетание твоего сердца, где ты забывала земной язык, где прижималась ты к моей руке, и я казался твоим защитником...

"Полно говорить об этом — ради бога, перестаньте!" — сказала ты мне, когда я начинал

рассказывать тебе об ужасном состоянии души моей: я не смел говорить о любви моей.

"Полно, Аркадий, mon bon ami! [7] Вы не поверите, как тяжело слышать, что вы несчастливы! При вашем сердце, при вашей душе... Вы не должны быть несчастливы!"

"Что же составит мое счастье, Веринька, что составит его? Не люди, нет, не люди! Дайте мне одну душу любящую, понимающую меня... — Она вся затрепетала. — Вы мне и жаловаться на это не позволяете?"

"Могу ли я быть вашим руководителем, Аркадий!"

"Будьте им, будьте моим ангелом-хранителем".

"Мы не понимаем друг друга".

"Нет! вы меня понимаете".

"Боюсь понимать, может быть..."

"Меня ли можете вы бояться? — сказал я с жаром. — Испытайте меня, заставьте меня делать, говорить, думать, что вам угодно! Передайте только мне мир души вашей!"

Как начала она после того говорить, как чудно изъясняла мне свой детский, невинный, ангельский взгляд на мир, на людей!

Только гордость моя не позволяет мне согласиться, что она права... Теперь я вижу всю ее душу! Я готов был преклонить колена перед нею, не думая казаться странным; в лице ее обожал я великую идею любви... И вся толпа, окружающая нас, также преклонилась бы перед нею, если бы только я сказал ей несколько слов, этой толпе. Никакое сердце, ничья душа не лишены своего участка неба.

* * *

Нет, Веринька! — так дешево не отдам я тебе себя! Твоей детской любви мне мало. Хочешь ли быть моею? Отрекись от себя; не думай быть со мною счастлива; воображай, что страшное, неизъяснимое бедствие ожидает тебя со мною; что только горькие слезы будут тебе отрадою... Тогда-то мы будем счастливы, но счастливы не поземному: тогда жизнь моя, душа моя, моя вечность принадлежат тебе! Ты еще не знаешь счастья умереть вместе, после жизни ужасной, бедственной, от которой содрогнулось бы все, кроме любви. Любовь не боится ничего, всего менее — смерти. Это чудовище, столь гибельное, страшное всему другому, есть ангел-благодетель любви!

Отдайте Вериньку кому угодно, забросьте ее за моря, за непроходимые леса и горы, позвольте мне ползти на коленях по всему свету, искать ее; разбейте лодку, на которой поплыву я, и бросьте меня, истерзанного, об острые скалы приморские, только бросьте к ногам ее, так, чтобы мой последний взор устремился на нее, встретился с ее взором, выражающим любовь... — Вот счастье, вот что я знаю в любви...

Она способна, она может так любить — она готова будет скитаться со мною вечно, по земле неприязненной, с нищенскою сумою, с посохом, которым мы будем стучаться под окном поселянина, выпрашивая ночлега любви нашей... Аркадий! ты сумасшедший!

* * *

Как странно говорил со мною сегодня отец ее! Чего он хотел? Не думает ли, что я жених его дочери, что я также хожу к нему, как другие, играть в свадьбу? И неужели она смотрит на меня, как на толпу других молодых людей, из которой более нежному, более скромному, более прилежному в искании, представляющему более удобств в жизни она отдаст свою

руку? Веринька! неужели я женщину, невесту обожаю в тебе? Неужели ты думаешь, что я не посмел бы любить тебя, если бы ты была царица? Побоялся бы любить тебя, если бы ты была нищая бродяга, а я сильный царь? Ты прекрасна, Веринька: в глазах твоих небо, стан твой зефирен; но подурней, милый друг! сторбись, сделайся безобразна! Тогда только увидишь ты, люблю ли я тебя! Принадлежи другому — что же мне? Я люблю душу твою — она всегда будет моею.

Нет, нет, о боже мой! Ей принадлежать другому! Нет! все — только не это! Я не переживу этого — больше недели не переживу. Что смерть? To die, to sleep! [8] Мне нельзя будет тогда даже и умереть: ты останешься в мире...

Напрасно хотеть воротиться теперь — это уже невозможно, бедняк! Если она и не то, если она ничтожна, если ты должен играть жалкую, презренную роль ничтожного любовника, как этот долговязый молодой человек, который вчера навязывался к тебе в друга, — все кончено! Ты думал властвовать ею, ты думал, что она боится, трепещет твоей ис-

полинской силы, а она опутывала тебя паутинными нитками — и опутала! Видишь ли, кто теперь повелевает: она или ты? Что за лицо представляешь ты у них в доме? Что ты — привидение ли, которое приходит пугать других? Или шут, над которым все забавляются? Куда как глуп ты с своими мечтами, с своими высокими мечтами! Вчера ты хотел остаться в своем кабинете, и что же? Целый вечер у них; и целый вечер ты сидел наряду с другими, играл в дурачки, рисовал карикатуры! Тебе дали альбом, и ты вписывал в него глупости — цветочки, хижинки — и был весел — весел — вот что мне всего досаднее! Ты потерял всю власть над нею: она уже не тревожится твоими взорами, уже не боится тебя. Огонь безумных, сильных страстей погас! Она так спокойна, весела, так уверена, что ты всегда придешь к ним. Ты не смеешь уже изъяснить ей никакого противоречия. Вчера, помню, при первом слове она тихо пожала мне руку и сказала: "Опять пугать меня, Аркадий?", и я замолчал. Ей весело играть в эту ничтожную любовь, в этот звонок жизни, по которому веселая радость и крошечное удо-

вольствие являются, когда их позовут! Она дитя, она забылась сном, а ты не смеешь пошевелиться, не смеешь говорить громко — боишься перервать сон твоего дитяти! Но как очарователен этот сон! Веринька! ведь ты моя?

* * *

Неужели я до того изменился? Как: они, эти люди, которые меня пугались, страшились, они уже начинают любить меня; они находят меня милым, любезным, забавным, веселым? Стыдись! По крайней мере этот долговязый вчера был рассержен. Какую глупую рожу делал он, как был жалок! Она торжествовала. Она говорила, казалось, всем: "Видите ли, как мой Аркадий умен, как он мил?" — "Вы всегда будете таким милым, Аркадий, как сегодня были?" — сказала она, прощаясь. Мне стало совестно за нее — нет! за себя.

* * *

И это ты перенес, Аркадий! Как: отец ее говорил тебе, что почитал тебя богатым, что он почитал тебя незаконным сыном твоего благодетеля, думал, что благодетель твой оста-

вил тебе большое состояние? Какое сострадательное лицо сделал он, когда ты сказал ему, что ты бедняк, надеющийся только на свои руки, что у тебя ничего нет — ни денег, ни покровительства! С какою утешающею улыбкою говорил он потом: "Но я никогда не разлюблю тебя, мой любезный Аркадий Иванович, будь ты миллионщик, будь ты нищий! Я, брат, сам начинал с копейки!" — Потом он стал мне давать советы, как жить, как надобно думать о будущем — о будущем, не за гробом, а здесь! Как надобно беречь копейку на черный день... Ее, правда, не было тут... Я не мог же оскорблять отца ее? Но ведь это гадко: думать и даже говорить так, как он думает и говорит? Я не пойду к ним более — но надобно наконец узнать от нее... Где мое прежнее бешенство?

* * *

Три дня сижу я, запершись, у себя. Но как мне грустно, как мне скучно!

Сегодня я подходил к воротам дома ее — но не пошел к ней. У меня еще есть сила души...

* * *

Я был к нему несправедлив. Он обезору-

жил меня простодушною добротою. Мог ли я этого ожидать? Он пришел ко мне. Встревоженный принял я его. Старик спрашивал меня, зачем я не приходил к ним три дня и не пришел вчера.

"Вчера? Но что было вчера?"

"Забыл? Вот как ты любишь нас; а мы простудили свой обед; мы так привыкли видеть тебя при каждом семейном празднике нашем, при каждой радости нашей!"

Но какой праздник вчера был? Чему они там радовались?

"Ты и позабыл, видно? Вот я скажу Вериньке, что ты забыл 17-е сентября! А она целый день ждала тебя, хотела даже послать нарочного".

Старик сел и начал говорить:

"Прости меня, брат Аркадий: я человек простой, невоспитанный; говорю что думаю. Не осердился ли ты на нас за что-нибудь? Это вчера приходило мне в голову, но я ничего не припоминаю. А что я люблю тебя, как друга, как доброго, славного, горячего немного, но умного малого — право, люблю, как сына... Мой покойный Гаврило был бы в твои годы..."

Ты на него немного и походишь... Голова только у тебя горяча, проклятая!.."

Итак, он не хотел оскорблять меня? Он не за то любил меня, что я казался ему сыном генерала, человеком с деньгами, выгодною партией его дочери? Он видел во мне что-то похожее на милое, незабвенное дитя его?

Но зачем же он не говорит, что я могу быть его сыном? Неужели, когда дочь его видит в любви моей какую-то игрушку, он вовсе не понимает отношений моих к себе?

Но так выходит. Он говорит столь добродушно, столь откровенно. Что же? Если в его окошко смотреть и не видеть, не знать вовсе горящего солнца любви, — могу ли я тогда быть его сыном и Веринька может ли быть моею? Нет! Но он любит меня, он пришел узнать обо мне, навестить меня... К ней! к ней!.. Она решит все!..

* * *

"Бессовестный!" Одно слово, которое успела она сказать мне, когда мы на минуту остались одни, когда я взял ее руку и прижал ее к горящим устам своим. И какой взор сопровождал это слово... Только одно слово, но тут

было все: упрек, прощение, радость свидания, грусть разлуки... Дайте мне сто лет жизни, сто рук — я изъясню вам это слово; но целой жизни мира мало будет вам изучить то, что я напишу вам.

Ни одной еще картиной не был я так доволен, как той, которую сегодня начал.

* * *

Если я был когда-нибудь счастлив, так не в детстве ли моем это было? Или не тогда ли это было, когда еще безотчетно увлекался я искусством? Были ли это минуты душевной пытки, мучительных исследований, неудовлетворенных идеалов? Нет!

Разве не счастье это, когда вы чувствуете, что сердце ваше бьется тихо, кровь тепла, голова свежа, люди кажутся — пусть хоть кажутся — добры, земное солнце греет вас, вся природа дышит сном радости?

Завтра решительно сожгу я свой большой картон с рисунками и возьмусь писать портрет этого откупщика.

* * *

Почему до сих пор я никогда не воображал себя счастливым семьянином; подле себя Ве-

риньку как подругу жизни, и мою буйную душу, согреваемую тихим дыханием любви из уст ее, и ангела, с улыбкою спящего на ее коленях? Аркадий! Недостижимо то, чего искал ты доньне. Не гордость ли твоя виною, что ты не сознаешь причины недостижимости в собственной своей слабости? Берегись;, Аркадий! Гордость погубила сатану! Если грудь женщины не создана для поприща сумасшедших страстей, а для того только создана, чтобы голова, измученная их безумием, успокаивалась на этой груди? Вспомни, что Наполеон не терпел г-жи Сталь, страстно любившей его! Важная тайна человеческого сердца! Неужели ты влюбился бы в г-жу Сталь, в ее Коринну? Никогда! Поди они в ад! Актриса не женщина — это пасквиль на женщин; певицу надобно слушать, а не любить! Как умен был англичанин, который торговал горло у Каталани — только горло..."

* * *

— Читать ли вам еще что-нибудь, мой почтенный друг? — сказал Аркадий, отталкивая рукою свои заметки. — Избавьте меня! Мне тяжело — я задохнусь... Вы понимаете теперь,

хоть немного, как эта непостижимая девушка умела пересилить мою бешеную душу, как она умела связать волю мою, как я никогда не смел сказать ей ни одного слова о любви моей — видел, что она любит меня, страстно любит, и не позволял себе даже ни одного взгляда, который вырвал бы у нее признание, после которого я прижал бы ее к груди своей, задушил ее в своих объятиях. Беспечная невинность, детская простота; и среди этого один взгляд, одно слово, которые показывали мне все богатство души ее; и после этого слова, этого взгляда какая-то электрическая, согревающая, детская веселость, от которой радость так сладостно дышала на меня от людей и от природы... Вы застали меня в этом состоянии — меня, забывшего все свои идеалы, все свои мечты, и — для чего? Для счастья земного? Но я и по-земному не был счастлив: я только уничтожился... прежний Аркадий исчез тогда во мне. Я успел наконец примириться с самим собою, с моим внутренним, вечным врагом, но условия были тяжки: я был уже просто живописец, не художник. Довольно ли, что меня полюбили даже в Глав-

ном училище живописи, что мне хотели даже дать денег и отправить меня в Италию на счет этого училища. Все это перенес я, потому что Веринька сказала мне: "Аркадий! вы это сделаете!" Я подписал бы кабалу на вечное мое рабство, если бы только она сказала: "Аркадий! вы это сделаете!" Проклятые слова! Я успел тихонько расстроить посылку меня в Италию и как ребенок трепетал, чтобы Веринька этого не узнала; я успел сделать, что меня выключили из Главного училища живописи. Ей было все это досадно; я притворялся, что и сам очень жалею. Для чего же сделал я все это? — Я не в силах был подумать о разлуке с нею... И что же за все это Веринька?.. Три дня тому — страшный свет осветил мне судьбу мою! Это ужасно...

Аркадий быстро прошел по комнате три или четыре раза. Он сел потом. Ни одно движение наружное не показывало внутренней бури его. Он говорил мне хладнокровно, по видимому; только лицо его было бледно, глаза мутились, губы посинели...

* * *

IV

*Ты любишь тяжело и трудно,
А сердце женское — шутя!..*

А. Пушкин

— Не знаю: испытывали ль вы, когда вы любили — "любили ль вы?" — надобно спрашивать прежде всего в наше время, — если вы любили, узнали ль вы то тягостное, терзательное чувство, какое меня мучило и мучит в моей несчастной участи? При совершенном уничтожении каком-то, при каком-то странном состоянии, в котором я существую, живу, дышу, мыслю — только моею любовью, — это чувство лишило меня всякой радости, всяких наслаждений во всем другом. Оно убило у меня все, потому что я отвергаю, отталкиваю от себя все, все, что не оно, не это чувство, не любовь моя! О, как бы все возвысилось, расцвело, ожило передо мною, когда бы любовь моя была счастлива, увлажжала глаза мои слезами радости; когда бы она была хоть трескучим, диким, но взаимным пламенем, в котором я сгорал бы самдруг... Нет это-

го! Я горю, тлею, Одинокий, медленно, тяжело; и за всем тем, как святотатство отвергаю я все, что не она! Тяжким преступлением кажется мне самая легкая мысль хоть на минуту, хоть иногда забыть любовь мою! Не думаете ли вы, что в то же время порывы ко всему другому исчезают в душе моей? Бедствие, гибель мою составляет то, что, нет, — они не исчезли! Я, как раб, лишенный воли, не смею только предаться им; и — теперь едва ли уже не отвык от увлечения ими. Но эти порывы: мысль о славе, пытливость ума, мечты художника — все это гнездится в душе моей, все это превратилось в змей шипучих, которые не дают мне покоя, лишают меня сна, делают мне горькими каждую мысль, каждое дыхание; я душу их — они снова оживают и шипят еще сильнее, делаются еще ядовитее! Я унижен и понимаю свое уничижение — вот мука моя! Этого мало: понимаю, но не хочу, если бы и мог, не хочу вырваться из сетей бедственной моей страсти! Испытали ль вы это состояние? Согласитесь ли вы, что сумасшествие лучше, лучше, легче этого состояния? Это ад по доброй воле, из которого страдалец

не хочет выйти, потому что в нем оставит он грешника, которому судьба определила век мучиться в этом аду; но с этим грешником он не расстанется за райские наслаждения!

Три дня тому — предчувствовал ли я, что это будет роковой день решения судьбы моей! — три дня тому я пришел к Вериньке. Ее не было дома. Дня с два я не видал ее. Прощаясь с нею в последнее свидание, я заметил в ней, в первый еще раз, какое-то усиленное ко мне внимание, какое-то необыкновенное волнение души. Она так уныло, внимательно смотрела на меня; рука ее, забытая, оставалась в руке моей; грудь ее трепетала; глаза наполнялись слезами. Казалось, что ее тяготит какая-то тайна; казалось, что она трепещет, как бы тайна эта не открылась. Несколько раз она останавливала меня, когда я хотел идти.

"Что с вами, Веринька?" — спрашивал я, изумленный, встревоженный.

"Ничего!" — отвечала она и едва не плакала, и никогда глаза ее не выражали столь много! Все это дало мне запас счастья на два дня, но ужасно беспокоило меня. Теперь меня

встретил отец ее. Он был один и задумчив. Разговор наш вертелся на пустяках и перерывался беспрестанно. Невольный ужас овладел мною.

"Все ли у вас здоровы?" — спросил я.

"Все", — был холодный ответ его.

"Но где же..." — промолвил я и не мог докончить.

"Не о Вериньке ли ты спрашиваешь?" — спросил старик.

Я мог только наклонить голову в знак подтверждения.

"Ее нет!" — отвечал он.

"Что это значит?" — воскликнул я.

"Она уехала из Петербурга, в деревню к тетке, и, признаюсь тебе, разлучась с нею в первый раз в жизни, я грущу и печалюсь, как будто сердце потерял!"

Он сердце потерял! А я что же потерял, я? — Никогда прежде мысль о разлуке не представлялась мне. Иногда с ужасом воображал я, что Веринька может принадлежать другому; но — расстаться с нею, и так неожиданно, и не слыхав от нее ни одного слова, не слыхав даже милого, унылого: "до свиданья".

нья!"... Мне казалось, что кости мои затрещали в суставах... Но это было только начало пытки...

"Видя в тебе доброго друга нашего дома, — продолжал старик очень хладнокровно (он не выдержал более своей тайны), — не стану скрывать от тебя, любезный друг Аркадий, что меня занимает теперь весьма важное семейное дело..."

"Если вонзать нож в сердце, так вонзай его глубже, быстрее, и сильно поверни потом, — думал я, — иначе можешь ошибиться в ударе: только измучишь человека, а не зарежешь. За что же мучить? Лучше убей с одного раза". — Я предчувствовал, что хочет говорить старик! Откуда было это предчувствие — не понимаю. Боясь, что упаду, крепче сел я на диван и придвинулся к самой спинке его.

"Ты догадываешься, любезный Аркадий, что я хочу говорить тебе о судьбе Вериньки. Ей открывается прекрасная партия. Думаю только и не придумаю, как мне быть? Конечно: человек хорош, молод, состояние у него будет отличное; ну и любвишка замешалась тут: Веринька ему очень нравится. Он так и

говорит, что любит ее и надеется видеть в ней добрую жену и мать; даже не требует за нею никакого приданого. Я, признаться, ничего и не могу дать за дочьрью, кроме этого домишка. Мне бы так хотелось, однако ж, чтобы зять мой поселился со мною. А он говорит, что этот дом для него мал..."

"Вы уж успели с ним переговорить обо всех этих хозяйственных распоряжениях?"

"Как же, братец; надобно делать дело порядком. У меня главное затруднение в том, как мне расстаться с дочьрью и как опять бросить этот дом? Конечно, можно отдать внаймы, а самому переселиться к зятю, но жаль постояльцам отдать дом, который готовил я для себя и так хорошо отделал и устроил. Опять и то, что человек-то славный! Ты его знаешь: вы с ним друзья; он мне сам сказывал".

"Кто он такой?"

Старик назвал его: это был дурак, долговязый молодой человек, давно ходивший к отцу Вериньки, и над которым я всегда безжалостно смеялся.

"Он лжет, что мы с ним друзья!" — вскри-

чал я с негодованием.

"Как же так? А он еще хотел заказать тебе портрет Вериньки, если дело у нас сладится!"

О позор! о унижение! Я готов был рвать на себе волосы и чувствовал, что вся кровь моя клокочет и пенится. Но чрез минуту мысль: долговязый — мой счастливый соперник — показалась мне столь смешною, что я думал, не шутит ли старик...

"Совсем не знал я, что он жених вашей дочери... никогда этого и не думал..." — сказал я, едва не засмеявшись.

"И я не думал, — отвечал с важностью старик. — Он всегда казался мне славным малым, и я замечал, что он ластится к Вериньке. Но только с неделю тому он получил письмо, где уведомляют его, что старик дядя скончался у него: пятьсот душ в Калуге. Состояние, братец, прекрасное! И вообрази ты себе, что уж моя дочь ему бы и не пара, а первое дело его было, что он пришел ко мне и сделал предложение. И только тут-то узнал я, что он давно в Вериньку влюблен!"

"Но мне всегда казалось, что он очень глуп".

"Нет! что ты! Преобразованный ведь он. Застенчив немного, но от этого исправится. Да я и не знал, что ты его не любишь?"

Не постигаю, как я остался жив и как не наговорил чего-нибудь безумного! Видно, что человек может быть живущ и перенослив притом, если захочет!

"Право, брат Аркадий, в большом я затруднении! — продолжал старик, ходя по комнате. — Как ты думаешь?"

Я думал: если это не глупая шутка, то не испытание ли, не желание ли шутливо сказать мне, что он отдает мне Вериньку... Но к чему же такая нелепая шутка?.. Ах! это была ужасная истина!

"Где теперь ваш будущий зять?" — спросил я, сам не зная для чего.

"Уехал, братец, вчера для устройства дел, принятия наследства и прочего и воротится уже зимою".

"Через полгода?"

"Да".

"И дочь ваша воротится от тетушки через полгода?"

"Да; но что ты вдруг побледнел?"

"Следственно, их останется тогда только обвенчать?"

"Нет! еще дело так далеко не дошло!"

"Как же! Ведь вы согласны?"

"Охотно; но Веринька что-то..."

"Ангел-Веринька! Скажите ради бога: она отказала?"

"Нет, не отказала... Но что ты опять покраснел, брат Аркадий? И к чему приплел ты имя ангела к Вериньке? Э-э! любезный Аркадий, что все это значит? Неужели..."

"Веринька ваша еще свободна?"

"Да, потому что я не добился от нее ответа. Девичий ответ обыкновенно бывает — слезы! Но она не отказала — она просила только меня отсрочить; а потом умоляла отпустить ее к тетке. Так жених — без решения, с одним моим словом, что я согласен, но принуждать моей дочери не стану — уехал, и дело отложено".

"Итак, она не согласна? А вы не станете ее принуждать, почтенный, добродетельный человек?" — вскричал я, вскочив с своего места.

"Избави меня бог!"

"Вы отдадите дочь вашу человеку, кото-

рый ее любит, которого она сама любит, с которым она будет счастлива, блаженна?" — продолжал я, крепко обняв старика.

Едва освободившись от моих объятий, старик принял угрюмый вид.

"Во-первых, так по-чертовски не обнимают добрых людей, а во-вторых, что это такое значит, брат Аркадий? Или и ты в женихи себя ладишь Вериньке?"

Я окаменел и старался разгадать по выражению голоса, что такое хочет сказать старик?

"Любезный! — продолжал он. — Мы люди старые; этой любовной вашей дребедени не знаем. Что ты наговорил мне о счастье, о любви, о чем еще... Аркадий, брат! я этого не замечал прежде — это нехорошо, нехорошо!"

"Итак, всякому позволяется любить Вериньку вашу, только не мне?"

"Любить всякому?.. Она ничего не знает обо всем этом вздоре?"

Я молчал.

"Знает? Это нехорошо! — сердито вскричал старик. — Помнишь ли ты анекдот в "Письмовнике", что один кавалер спрашивал у де-

вушки: "Как, сударыня, пройти к вашей спальне?" — "Через церковь", — отвечала она".

Негодование овладело мною. Я с жаром начал говорить о несправедливости низкого подозрения, о том, что любовь моя была чистое, святое чувство; но я не мог сказать старику, будто Веринька не знала о моей любви... Ах! она слишком знала о ней!

"И ты ей признался, чай, по-рыцарски, покартинному, на коленях?"

"Нет! я молчал!"

"Как же она могла знать все эти пустяки, когда ты посылал к ней посла немого с грамотою неписаною? Вот я, например: ты не говорил, и я совсем этого не заметил. Мало ли вас увивалось вокруг Вериньки. Правда, ведь девушки иногда объясняются без слов, как-то глазами... Неужели это было причиною ее слез, ее отказа, ее отъезда? Глупо! Для чего она мне об этом не говорила!"

"Что же вы сделали бы, если б она сказала?"

"Я отвечал бы ей... — Старик сердито ходил по комнате. — Тогда бы я подумал, что гово-

рить; а теперь, как ничего не сказано, так мне и говорить нечего".

"Но я вам говорю теперь это".

"То есть что Веринька тебя любит?"

Боже! мысль, в которой несколько лет не смел я отдать сам себе тайного отчета, — он сжал эту мысль, объемлющую все мое бытие, в один вопрос и сказал ее в виде допросного пункта, тремя холодными словами...

"Да говорите же, Аркадий Иванович! Тут уж молчать не время".

"Не знаю!" — промолвил я, едва не задыхаясь от горести.

"Ну, так дело-то, видно, все пустяки: обыкновенное глазенье молодежи друг на друга. Я так и надеялся на тебя, любезный Аркадий, что ты честный человек, что ты истинный друг мой. Женщины народ слабый; мужчины должны беречь их".

"Я посвящу всю жизнь мою на то, чтобы беречь ее!"

"Да говори же толком, чего ты от меня хочешь?"

"Отдайте мне Вериньку!" — вскричал я, едва держась на ногах.

Старик молча сел на диван и уперся ногтями в зубы.

"Отец мой!"

"Я, сударь, вам, во-первых, не отец, а во-вторых — дайте мне подумать".

"Подумайте!" — сказал я и пошел вон, сам не зная куда. Я не показал признаков сумасшествия перед отцом Вериньки — но видите, каков я теперь! А этому уже прошло три дня! Не спрашивайте у меня ничего: ни о том, что было со мною в эти три дня, ни о том, что я предпринимаю в будущем!

Аркадий кончил свое повествование. Я ничего не советовал ему, но притворился любопытствующим узнать разные подробности о благодетеле его, об училище живописи, об иконописании, увлек его в посторонний разговор, стал с ним читать. Семен Иваныч поглядывал в дверь с радостною улыбкою, видя, что мы разговариваем спокойно. Я ушел, когда уже было утро. С несчастными надобно обходиться как с больными, а Аркадий был истинно несчастлив.

На другой день, едва проснулся Аркадий, я был уже у него с наемного коляскою и пред-

ложил ему ехать верст за тридцать от Петербурга. Это казалось ему неприятно, но он промолчал и согласился. Я не давал ему покоя, ничего не спрашивал у него, видел, о чем хотелось ему говорить, и удалял этот разговор. Мы проездили сутки двоим; я уговорил его потом ехать со мною на финляндские каменоломни.

Грустно, больно было мне смотреть на Аркадия во все это время, тем более что я не понимал еще и сам, как пособить ему. Но первый перелом его душевной скорби прошел. Когда мы воротились в Петербург, Аркадий сам предложил мне лекарство для больной души его.

Велик запас жизни, дарованный провидением человеку! На утлой доске выплывает человек с развалившегося, избитого волнами корабля к бесплодному утесу; неделю живет потом на этом утесе, голой скале, которую едва не заливают волны разъяренного моря, едва не сокрушают удары буйных валов, живет под свистом бурь, огнем молний и — уцеливает! Небо проясняется, волны утихают, голод и жажда томят, но не умерщвляют его, и

надежда не перестает гнездиться в сердце страдальца! И наконец она спасает его! Так и в нравственном мире.

— Почтенный друг мой! — сказал мне Аркадий, когда мы по приезде нашем отдыхали вечером в его мастерской. — Чем могу изъяснить вам благодарность мою? Неужели вы думаете, я не вижу, не понимаю ничего, что вы для меня делаете?

Я пожал ему руку.

— Я заплачу вам тем, что к стараниям вашим спасти меня сам приложу все старания. Будь что будет! Назначено ли мне, в самом деле, проявить что-нибудь в будущем или ничтожно погибнуть — будь что будет! Всего более страшит меня какое-то мрачное предчувствие — и я верю ему: ничтожество — мой удел на земле! Гордые мечты мои погаснут бесплодно, великие думы мои убьет безжалостная судьба. Она зарежет меня перочинным ножиком, а не убьет громом! Но я погибну тогда только, когда истощу все силы в борьбе с нею. Вот вам моя рука и клятва!

— Принимаю ее, Аркадий, и даю тебе мою клятву: все, что от меня зависит, употребить

для твоего спасения! Ты не знаешь себе цены, душа сильная!

— Сильная! Мне кажется, что я точно мог бы что-нибудь сделать... Скорее опыт сил моих, и — почему знать? Может быть, этим опытом я возвращу себе все? Это и была первая мысль моя, когда я узнал решение моей судьбы! Мысль, внушенная моим ангелом-хранителем, подкрепи меня!.. Только бы продышать мне как-нибудь... В будущем году назначена выставка... Мой "Прометей", идея, которую так давно и тяжело носил я в груди моей, — да, эту идею изображу я им! И когда восторг зрителей, голос народный, собственное мое убеждение скажут им, что я первый между ними, — не завидно первенство между пигмеями, но где же земля исполинов? — тогда отец ее поверит... хоть тому поверит, что я могу пропитать голову мою и жену мою... А она меня любит, у нее достанет сил сказать: он или никто!

На другой день я застал Аркадия за работою. Вдруг ожил он и совершенно изменился! Опять казался он тих, спокоен, весел. Вместо отдыха он ходил в Главное училище живопи-

си. Там не любили, но боялись его и не смели отказать ему в льстивой ласке и притворном расположении. Возвратившись домой, Аркадий рисовал карикатуры на учителей Главного училища. Многие были забавны. Не описываю их. Иного стоило только нарисовать вернее, и выходила карикатура превосходная.

В это время, к большой досаде моей, мне надобно было ехать, для справок по моему делу, в Москву, в Симбирск. Я отправился. Аркадий дал мне слово писать и не написал ни одного письма. Отлучка моя продолжилась. Мысль об участии Аркадия беспрестанно тревожила меня. Впрочем, один общий наш знакомый уведомлял меня, что видается с Аркадием и что он здоров. Почти первое дело мое было, по приезде в Петербург, послать к Аркадию. Он прибежал опрометью вместе с моим посланным, и, к изумлению моему, веселый, радостный. Извинения в неписаньи писем, расспросы о здоровье были непродолжительны. Какое непостижимое смешение противоположностей может быть в человеке!

— Не буду рассказывать вам, как провел я все это время, — говорил Аркадий. — Я кон-

чил моего "Прометея" и доволен им: вот все! Завтра приходите ко мне, почтенный друг мой, в двенадцать часов утра. Знаете ли, кого вы увидите у меня? Вериньку и отца ее!

— Как же это, Аркадий?

— О! не думайте слишком многого! — Аркадий засмеялся. — Я не был у старика более полугода. Он сам не заходил ко мне, и — что за странный человек! — обрадовался, увидев меня. Я ни слова не говорил ему о прошедшем. Казалось, он был рад этому и изъявлял мне большую дружбу. Мы были, как будто старые приятели, которые не говорят ничего о временной размолвке. Неделя тому Веринька возвратилась. Она приехала в тот самый день, когда для моего "Прометея" принесли мне золотую раму. Это счастливый знак; притом же это случилось во вторник, и четырнадцатого числа — признаки хороши! Я только всего раз и виделся с Веринькою. Она похудела немного, но — чудный, настоящий ангел! Мы говорили мало, но — она меня любит! Видно, что глупое сватовство не состоялось: наш пятисотый жених не едет, ха, ха, ха! — Через три дня открывают выставку картин. Я

просил старика прийти ко мне, посмотреть, что я приготовил на выставку... Ах! почтенный друг мой!.. — Аркадий в восторге обнимал меня.

— Предупреждаю вас, что я переменил квартиру и живу теперь на *** улице.

— Как? На той же самой улице...

— Где живет она. Мог ли бы я пережить столько времени, если б не глядел хоть на тот дом, где некогда видал ее!.. Впрочем, эта квартира гораздо удобнее прежней...

— Чего же теперь хочешь ты, чего ждешь ты, Аркадий?

— Счастья. Дайте, я запишу вам новый мой адрес! — Он убежал.

— Счастья! — прошептал я; сердце мое стеснилось...

Случалось ли вам видеть, как молодого, неженатого, но живущего своим маленьким хозяйством мужчину посещает семейство, где есть одна, для которой приглашение его было сделано? Это мило и любопытно видеть! Сколько тут бывает мечтаний, приготовлений, робкого любопытства! Хозяин показывает подробности своего хозяйства; старики ду-

мают, что он для них только заботится и делается любезным, услужливым; она понимает истинную цель услуг, тихо мечтает о том, как можно б было устроить здесь, поправить там, быть счастливою в этом тихом убежище. А он, неловкий хозяин, попадаясь непрерывно под дружеский выговор стариков, дает разуметь, что у него некому хозяйничать. Наконец уговаривают ее приняться разливать чай, управлять, распоряжаться. Краснеют, спрашивают, хозяйничают... Это прелесть! И сколько после того бывает воспоминаний! Здесь она сидела, там глядела, там останавливалась, там сказала то-то...

Новая квартира Аркадия была в самом деле лучше и обширнее прежней; новая мебель украшала комнаты. Семен Иваныч ходил торжественно, одетый в старый свой праздничный фрак; весело и значительно посмеивался он и кивал мне головою. Едва пришел я, как жданные гости появились на улице. Их, разумеется, ожидали нетерпеливо, побежали к ним навстречу: ведь надобно было показать им дорогу. Шутливые восклицания старика отца слышны были из передней. В первый

раз увидел я тогда Вериньку и отца ее.

О нем вам нечего говорить много: одно из тех созданий, которых называют добродушными весельчаками, — нечто не злое, не слишком умное, кругловатое по наружности, веселое, от нечего делать душе и сердцу, шутливое без остроумия, смеющееся каждой своей шутке, способное и плакать, когда бывает какое-нибудь горе. Но она?

Разрушать ли мне очарование моих читательниц, если они уже создали себе идеал Вериньки? Или взять на совесть грех и уверить их, что в Вериньке были все совершенства, что она была совершенная красавица? Ни то, ни другое. Вы знаете русскую пословицу: "Не по-хорошу мил, а по-милу хорош". Эта пословица — разрешение психологической задачи о том, что нам нравится и не нравится, что мы любим и ненавидим. Кронеберг, разрешая странную задачу любви, говорит, что в жизни человеческой бывают мгновения, когда душа вспыхивает молнией прекрасного и проникает сквозь свою темную, вещественную оболочку. В то же самое мгновение, когда одна душа таким образом является в мир, подгля-

дывает ее другая душа и узнает в ней свое родное, небесное. Раз освещенный этою молниєю души, вещественный образ человека, проявившего свою душу, остается навеки в душе другого, и уже ничто не разрушит его — ни время, ни самое безобразие! Там, где люди ничего не видят, мы видим этот светлый образ души, проглянувший для нас сквозь ничтожную оболочку и оставшийся в нашей душе. Для двух душ, свидетевшихся таким образом в области земного изгнания, — что такое время, что такое расстояние? Они знают только одно: любить друг друга; когда они вместе, — любить и радоваться; любить и грустить, — когда они розно. Впрочем, Веринька для всякого, и не подглядевшего души ее, была милое, прелестное создание, цветущее всем тем, что дает нам молодость, обладающее многим, что остается и после нее. Она не была бы нигде заметною, но взор ваш, утомленный блеском красоты и изысканности, всегда мог бы успокоиться на ее милом лице, мог бы полюбоваться ее стройными, изящными формами после многих красавиц, которых не захотите любить и о которых говорите, от-

ворачиваясь: "Как хороша!" Но идеал Аркадия — эта девушка, она — идеал его, высокого художника, великой души человека, понимающей все ясновидящими очами своими! Я смотрел на Вериньку, понимал возможность того, что она нравится, но не постигал безумия, околдования моего друга.

Аркадий усадил своих гостей и отрекомендовал им меня. Отец крепко пожал мне руку. Веринька взглянула на меня и тихонько, с улыбкою, сказала:

— Он много говаривал мне о вас!

Голос и улыбка были увлекательны; но — увлекательны — не более! Между тем старик отец ее повел шумный разговор. Надобно сказать, что с ним пришел еще какой-то аматёр, старый гравировальный мастер. Тот и другой занялись прежде всего водкой и закускою, поставленными на столе. Аркадий был как будто на иголках, метался, робел, хотел скорее начать свое торжество.

— Пойдемте смотреть поскорее мои картины! — сказал он наконец Вериньке тихо.

— Я сама нетерпеливо хотела бы видеть их, — отвечала она, взглянув на меня и как

будто говоря: "Если, хоть для приличий, вы пойдете с нами".

Я встал с своего места. Аркадий схватил руку Вериньки.

— Вы уж и спешите, господа? — сказал отец Вериньки. — Да нет, брат Аркадий: я не расстанусь с селедкой! Чудо, чудо! Где ты брал? Скажи, сделай милость! Вот, сударь, объясню я вам о селедках... — продолжал он, обратясь к своему товарищу. Я не дослушал слов его, ибо спешил за нетерпеливым Аркадием. Он увлек уже Вериньку — он был так счастлив, так доволен; он с жаром прижал руку ее к губам своим. Легкий румянец пробежал по ее щекам; она украдкой взглянула на меня, потом на него; нежный укор изобразился в ее взорах, как будто она хотела сказать: "Что ты делаешь, безрассудный!"

— Милый друг! дай мне забыться хоть на минуту. Кто ручается даже за будущий час? — говорил Аркадий, не отпуская руки ее. Веринька еще раз взглянула на меня выразительно. "Что мне делать с ним, с этим прихотливым ребенком, — решите сами!" — вот что выразил взор ее.

— Он хорошо знает меня; он мне истинный друг, — говорил ей Аркадий.

Мы вошли между тем в мастерскую Аркадия, отлично прибранную, искусно отененную занавесами. Тут стояло полукругом несколько картин его и портретов. Аркадий оставил руку Вериньки и, горделиво сложив руки на груди, хотел насладиться ее восхищением.

Тут была картина Аркадия "Иисус в пустыне" — желание изобразить то, что так сильно поражало его в детстве. Но этой картиной Аркадий был недоволен. И не диво: он измерял ее достоинство по безотчетному идеалу своих младенческих лет. Вторая — "Чтение в семействе", о которой я уже говорил, еще несколько других и между прочим "Прощанье рыцаря". Закованный в железную броню, нежно, с горестью смотрит паладин на милую девушку; печально лежит голова ее на груди рыцаря; рука его обхватила стан ее. Знаток увидел бы в этой картине глубокое изучение германской живописи, тщательность в костюмах. Но душа художника не выражалась в ней вполне: он изображал чуждое ему — горесть счаст-

ливой любви; лучше мог бы он изобразить чувство более странное: наслаждение любви несчастной.

Независимое вдохновение можно было заметить в "Клятве швейцарских вождей" — предмете, взятом Аркадием из Шиллерова "Вильгельма Телля". Простота, с какою изображены были тут Штауффахер, Фурст, Мельхталь, толпа разнообразных лиц, поднятые к небу руки пастухов, смесь странного оружия их, швейцарская природа окрест их — все это было истинно и прекрасно. Художник понял поэта. Но весь Аркадий, вся жизнь его выразились в его "Прометее". Идея, которую великий Эсхил заключил в своей чудной трагедии, которую потом так хорошо выразил Байрон, — горделивое презрение воли тирана Зевеса, величие духа, превышающее самую судьбу, и страшное терзание вещественное, соединенное с скорбью об участи человека, с пророческим видением, заставлявшим Прометея среди мучений прорицать гибель Зевеса, — все это выражала картина Аркадия. Огромный кровожадный орел, подъемлющийся к небесам седой Океан, угрюмо погру-

жающийся в бездны моря; дикообразный Эфест, держащий в руках орудие казни, страшный молот свой, и бесчувственно смотрящий на оживотворителя людей; природа, содрогающаяся от бедствий Прометея и гремящей грозы небесной! Это был Эсхил, переведенный рукою Гете; миф первобытной Эллады, проникнутый огнем всеобъемлющего романтизма; событие древней истории, описанное в трагедии Шекспира... И Аркадий хотел, чтобы это произведение поняли его судьи, его зрители — чтобы это произведение поняла Веринька!.. Бедный Аркадий! вечно несогласный с собою, когда люди его понимали, и вечно непонимаемый ими, если был согласен с собою!..

С детским любопытством Веринька пробежала взором своим по всему ряду картин; обратила лорнет свой на "Прометея" и — содрогнулась. Только. Чего же вы хотите? Она была женщина: ее ли женской душе, жадной наслаждений счастьем и радостью, можно было оценить этот миф глубокий, этот мир страстей, кипящий огненною лавою, сражающийся с волнами моря, которые влились в рассе-

лины горящего волкана. Взор Вериньки еще раз пробежал по всем картинам, и она сказала радостно и весело:

— Бесподобно! Прелестно, Аркадий! — Этим словом она заплатила дань своему роду, тому, что она была женщина! У них есть слова, которыми выражают они свои безотчетные чувства, свое ребяческое удивление. Таковы были разборы Гетевых и Вернеровых созданий, писанные г-жею Сталь, — это женское "бесподобно, прекрасно!", растянутое на множество страниц.

Взор Аркадия потемнел и помрачнел; руки его крепче сжались на груди. Веринька взглянула на него и оробела, подошла к нему, хотела взять его руку; он не давал ей своей руки. В смущении она отошла к картинам и наклонялась к ним, как будто рассматривая их, но я видел, что она хотела скрыть свои слезы. Аркадий подошел к "Прометею" своему и горящим взором, с каким-то яростным негодованием, смотрел на него — он готов был уничтожить свое создание. И какой поэт не изорвет своей поэмы, вдруг услышав простое, детское "прелестно!", когда он с восторгом чи-

тает ее своей подруге! Это вода, влитая в зажженное масло! Он в облаках и думает, что он орел, а его тянут к земле ниткою: он бумажный змей, пущенный с земли прихотью ребенка. Я не хотел скрывать своих чувств от Аркадия.

— Аркадий! — сказал я, — поди, обними меня: ты великий, истинный художник! — Эти слова были сказаны мною от искреннего восхищения; они были животворною росой на страждущую душу художника.

— Почтенный друг мой! — воскликнул Аркадий и бросился ко мне. — Она не понимает! — шептал он мне. Тут, с детскою невинностью дитяти, с жаром любящей души, Веринька подошла к нему. Слезы капали из глаз ее, и она не скрывала их. Мгновенно опомнился Аркадий. Он схватил ее руки и целовал их.

— Аркадий, mon bon ami! — говорила Веринька. — Зачем вы требуете от меня невозможного? Могу ли я судить и понимать ваши прекрасные произведения? Одно, что их создал Аркадий, вот одно, что составляет для меня главную — всю их прелесть...

— Что их создал ты, скажи мне, Веринь-

ка! — воскликнул Аркадий, — и ты осчастливишь меня...

— Что их создал ты, — сказала она, нежно улыбаясь сквозь слезы.

О женщины! кто дал вам эту волшебную силу над сердцем мужчины, эту силу слабости? — и как умеете вы пользоваться ею! Аркадий готов был прижать теперь Вериньку, не умеющую оценить его произведений, к груди своей и забыть своего Прометея, свое искусство, всю вселенную у ног ее...

Разговор отца Вериньки и товарища его слышался в ближней комнате. Аркадий и Веринька опомнились. Он пошел навстречу гостей; она отошла к картинам и внимательно смотрела на них, хотя я видел, что она ничего не могла в них разглядеть. Ее щеки пылали, грудь волновалась, глаза перебежали с одной картины на другую в беспорядке чувств и мыслей.

— Ну! управились мы, брат, с селедкой, выпили, закусили; давай теперь смотреть картины! — говорил отец Вериньки. — Да ведь мы по-художнически, по-ученому смотреть будем! Ставь сюда кресла — так! Надоб-

но выбрать настоящий point de vue! [9] Хорошо! Эта картина невыгодно поставлена — а еще сам художник ставил! Ближе ее к окошку, чтобы лучше был свет. Отойди, Веринька! что ты знаешь!

— Отойдемте, сударыня, — сказал, смеясь, Аркадий. — Вас исключают из числа знатоков, а я теперь не имею права судить. — Он стал с Веринькою в стороне и тихо пожимал ее руку.

— Начнем с начала: с рам. Что это у вас нынче пошли в моду эти готические рамы, плоские, пестрые? То ли дело прежние, с бусами и сухариками, имевшие более эффекта! Хорошо, хорошо! Только терпеть я не могу этой темной немецкой живописи! Тут облака надобно было мягче сделать! Что это за костюмы ты написал, вот в этой картине?

— Это древние германские.

— Все немцы да немцы! Почему не национальные наши? Пора нам думать о своей родной живописи, пора, братец! думать о русском! Тут *clair-obscur* [10] не точно смешан. Ошибка, братец! Рыцарь не мог прижать девушки так крепко к груди: ведь он был в же-

лезной броне! Зачем такие страшные носки у его сапогов?

— Так носили тогда.

— Так носили! Да ведь ты подражаешь природе не грубой и должен украшать ее! За что же ты и художник? Ты должен был украсить, сгладить костюм. А! Прометей! То-то художником-то быть: тотчас угадаешь! Хорошо! Ну, ведь не посоветуется, злодей, с опытными людьми! Во-первых, как он неловко положен...

— Да, ему, думаю, и в самом деле было не очень ловко лежать на Кавказе, — отвечал Аркадий.

Бедный Аркадий! Он думал торжествовать, думал, что Веринька поймет его "Прометея", что сила его дарования ослепит старого художника, отца ее, думал, что она в восторге устремит на него безбоязненный взор любви, а отец ее воскликнет: "Аркадий! ты великий художник", что в эту минуту будут забыты глупые приличия — он может упасть к ногам старика, сказать: "Отдайте же Вериньку этому великому художнику!" Веринька упадет в его объятия с словами "я твоя!". Что же теперь?

Бездушный мазилка после рюмки водки закусывал его картинами... А Веринька? Она как будто стыдилась мгновенной милой откровенности своего сердца; она спрятала свою душу; она огородила себя холодностью, как будто нарочно заковала себя в самые тяжкие приличия светской девушки и отошла от Аркадия, пока отец ее начал со мною спор об изящном: я не вытерпел и горячо стал защищать Аркадия. Спор продолжился; мы перешли вообще к искусствам. Аркадий был забыт. Веринька спокойно глядела в окно, и — женщина! — ничего, ничего нельзя уже было прочесть на ее лице! Наконец старик вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— Как приятно пролетело время — три часа! Пора домой! Сбирайся, Веринька! Хотя я уверен, что споры ничего не решают и что каждый всегда остается при своем мнении, — продолжал он, обращаясь ко мне, — но тем не менее всегда приятно поспорить с умным человеком!

Он ласково отрекомендовался мне, просил жаловать к нему, благодарил Аркадия, и гости пошли. Проводив их, Аркадий бросился к

окошку. С каким восторгом, с каким унынием смотрел он на Вериньку, идущую с отцом. Еще раз она сжалилась над ним — оглянулась на него раза два, улыбнулась... И тогда только, когда отец и она ушли из виду и Семен Иваныч начал прибирать остатки закуски, Аркадий полупечально, полунасмешливо обратился ко мне, прошедши несколько раз по комнате.

— "Вот наши строгие ценители и судьи!" Неужели так будут судить все? — сказал он.

— Нет! — отвечал я, скрепив сердце, хотя мне хотелось броситься к Аркадию, обнять его и сказать ему: "Да, бедный Аркадий, да!"

В тот же день Аркадий отвез свои картины на выставку. "Швейцарских вождей" его не приняли, говоря, что на выставке нет места. Одно крыло было таким образом отбито у Аркадия... Но еще надежда не покидала его. Он сносил все с терпением изумительным.

Дело Аркадия перенесено было теперь на решение толпы, публики, знатоков... Что же она сказала? Чем они решили?

Смешон, участия кто требу-

ет у света!

Холодная толпа взирает на поэта,

Как на заезжего фигляра: если он

Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,

И выстраданный стих, пронзительно-унылый,

Ударит по сердцам с неведомою силой, —

Она в ладони бьет и хвалит, иль порой

Неблагосклонною кивает головой.

Постигнет ли певца внезапное волненье,

Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —

"Тем лучше, — говорят любители искусств, —

Тем лучше! Наберет он новых дум и чувств

И нам их передаст". Но счастье поэта

Меж ними не найдет сердечного привета,

Когда боязненно безмолвству-

ет оно...

Такая толпа должна была решить дело Аркадия. Но каково было Аркадию, гордому, несчастливому Аркадию, когда с решением этой толпы соединялось все его будущее!

Мы пришли с ним на третий день после открытия выставки, когда избранные посетители впускались по билетам.

Прошедши по всем залам, посмеявшись над классическими уродами, которым придавали имена Геркулесов, Марсов, полюбовавшись на плохие копии с превосходных эрмитажных картин, пожалевши о бедных учениках, которые принуждены были писать по определенной мерке, на жалкие задачи, мы остановились у "Прометея". В этой комнате было поставлено еще несколько огромных картин, на которые художники не пожалели ярких красок и в которых подражали они самым лучшим живописцам. Тут толпилось множество народа; блистали звезды, стучали шпоры, гремели сабли, веялись перья дам. Мы стали в стороне.

Генерал. Прелесть, сударь, прелесть! Как быстро идут у нас художества! *C'est charmant!*

[11]

Щеголь. Mais, mon general!.. [12]

Генерал. Без "mais", mon cher! Посмотри: что за прелесть!

Щеголь. Но видели ль вы Луврскую галерею?

Генерал. Видел, mon cher, и в полном блеске, в 1814 году! Прелесть! — Как хорош этот старик! А эта живая головка! (Тихо.) Кто эта дама? А! да! Прелесть.

Меценат (идет мимо). Bon jour! [13]

Генерал. Вы не любуетесь?

Меценат. Эти две я уж купил. У меня не было пандана для большой залы. (Художнику.) Только смотрите, чтобы вышли в меру!

Художник. А "Прометея" не прикажете?

Мец. "Прометея"? (Прищуривает глаза.) Предмет не хорош.

Барин (соседу своему). Слышите! Вот и его сиятельство то же говорит!

Femme savante. Fi! quelle horreur! [14] Что это такое? Не пытаются ли это кого? Какая гадость! Что это?

Щеголь (улыбаясь). Это Прометей.

F. s. Promethee. А! из мифологии. Давид

ввел было в моду изображения мифологические; но теперь мода эта давно забыта! Bon jour, ma cousine!

Толпа дам и девушек. (Слышны восклицания французские и русские.) Charmant — horreur — tres bien [15] — мило — были ли вы у N. N.- что ваша тетушка — были — будем — танцевали — quel beau temps! [16] — C'est lui... [17] ("Прометей" шатается от их толчков.)

Надзиратель. Осторожнее, ваше превосходительство, — вы изволите уронить "Прометей".

Старик с звездой. Он и без того лежит. (Хочут.)

Щеголь. Какая теснота! Позвольте пройти! Bon jour!

Сухощавый знаток. В этой картине вовсе не понята цель. Что хотели изобразить? Мифологический сюжет? Надобно было отделать его барельефным образом, алянтик.

Другой знаток. Что это за фигуры подле главного лица? Они развлекают внимание — это ошибка художника.

Первый. Тело слишком темно.

Другой. Небо слишком мрачно.

Старый художник. Это, сударь, новая школа, дюреровская. Мы, классики, ее не понимаем.

Молодой человек (тихо товарищу). Здесь вся душа художника! (Слова их заглушаются громкими суждениями.)

Старик. Нога крива.

1-й знаток. Отдадим сами себе отчет: какое чувство должно было одушевлять Прометея? Конечно: раскаяние, благоговение к наказующей судьбе. К чему же это презрение на лице его?

Надзиратель. Позвольте, милостивые государи, — дорогу его сиятельству (его сиятельство лорнетитирует картины. Все отсторониваются).

1-й знаток (тихо). Какой это у него орден?

2-й знаток. Кажется, Золотого Руна.

Н. Н. (тихо и униженно его сиятельству). Как вы находите?

Его сиятельство (с гримасою презрения). Могло б быть лучше.

Так судили о "Прометее". Вдруг Аркадий, дотоле равнодушный, усмехавшийся, побледнел, схватил меня за руку и указывал прямо

на своего "Прометея". Перед этою картиною стоял высокий молодой человек и, разинув рот, равнодушно глядел в потолок, на картины, на зрителей.

— Это он! — шептал мне Аркадий.

— Кто он?

— Долговязый! Он воротился! Боже мой! у него золотое колечко на правой руке!

Аркадию сделалось дурно. Я поспешил вывести его на свежий воздух. Мы пошли на его квартиру. Аркадий молчал дорогою. Едва мы пришли, Семен Иванович известил Аркадия, что Парфен Игнатьевич, отец Вериньки, заходил к нему, спрашивал его, отдохнул немного и ушел.

— Не заказывал ли он чего-нибудь? — спросил Аркадий задумчиво.

— Ничего-с. Но он заботливо разбирал тут какие-то бумаги и, видно, второпях забыл их. Вот они на столе. Он говорил, что у него теперь тма хлопот.

— Бумаги? — К изумлению моему, Аркадий схватил бумаги, оставленные стариком, и поспешно стал перебирать их. Это были какие-то счета, записки. Одну из них вдруг раз-

вернул Аркадий, руки его задрожали — записка вывалилась у него из рук — он упал в кресла.

Испуганный Семен Иваныч бросился помогать Аркадию. Я поднял записку с полу: это был образчик билета, вероятно, писанный для отдачи в типографию и начинавшийся сими словами: "Парфентий Игнатьевич N. N. сим честь имеет известить о помолвке дочери своей Веры Парфентьевны..."

— Не бойся, любезный Семен Иваныч, — сказал Аркадий, бодро вставая и усмехаясь, — не беспокойся! За бумагами верно пришлет Парфентий Игнатьевич. Ты отдашь их присланному. — Он тщательно сложил бумаги и передал их старику. Сомнительно посмотрев на обоих нас, взглянув потом на меня, будто умоляя меня быть хранителем Аркадия, Семен Иваныч вышел. Да, в эту минуту я обещал сам себе употребить все, что будет в моих силах, для спасения бедного моего друга!

Аркадий ходил несколько минут по комнате молча, спокойно по наружности; только беспрестанно отирал он лицо свое платком. Потом, не говоря ни слова, взялся за шляпу.

— Аркадий! куда ты? — спросил я.

— К Вериньке, — отвечал он каким-то могоильным голосом, отирая щеткою шляпу свою и поправляя перед зеркалом беспорядок своей одежды. — Разве вы не видите, что ее губят? Я должен спасти ее!

— Аркадий! позволь мне идти с тобою!

— Пойдемте. Мне все равно. Мне хочется только сказать ей или им два-три слова. Как я желт и бледен! — Он поправил свои волосы.

Аркадий шел поспешно, почти бежал. Едва успевал я за ним. Расстояние было невелико. Нам никто не встретился в передней комнате. Мы вошли прямо в гостиную. Веринька сидела тут на диване, наклонясь головою на стол и закрыв лицо платком. Услышав шум, она вскочила, увидела Аркадия, ахнула и принуждена была удержаться рукою за стол. Глаза ее были красны; другую руку прижала она к груди своей.

— Веринька! милый друг! — сказал Аркадий трепещущим голосом.

— Аркадий! зачем вы пришли! — отвечала она и в бессилии опять села на диван, боясь совершенно лишиться чувств.

— Судьба твоя решена?

— Оставьте меня, Аркадий, ради бога оставьте. Будьте счастливы! Вы достойны счастья!

— Хоть не смейся надо мной, бесчеловечная! Веринька, милый друг! я пришел спасти тебя!

— Поздно, Аркадий! Оставьте меня; я уже принадлежу другому. Мое слово дано!

— Другому! — Аркадий отскочил от нее, как будто наступил на ядовитую змею. — Он прежде повергнет меня мертвого к ногам твоим и тогда возьмет тебя!

— Аркадий! ради бога...

Аркадий в отчаянии ничего не слышал. Вдруг лицо Вериньки изменилось. Она отерла слезы свои, встала и твердым голосом сказала ему:

— Я добровольно отдаю ему свою руку. Вы не имеете права располагать моею волею!

Я ждал грома, но его не было: душа Аркадия уже потухла. Колена его смиренно подогнулись. Он сложил свои руки и с умоляющим видом поднял их к Вериньке.

— Ты решаешь смерть мою, Веринька! Ес-

ли ты добровольно отдаешь ему свою руку, сердце твое принадлежит мне — я знаю!

— Нет!

— Бесчеловечная! так ли мы должны хоть расстаться с тобою! Еще есть время, Веринька: скажи одно слово — убежим, милый друг, если тебя принуждают! Ты ошибаешься, Веринька: ты моя, моя!.. О чем ты плачешь?

— Кто велел вам подсматривать за моими слезами? Я не хочу вас видеть!

Веринька закрыла глаза платком. Аркадий не говорил более ни слова; он встал, сложил руки; жадным, горестным взором, взором, в котором жизнь и смерть, казалось, спорили о своей добыче, он посмотрел на Вериньку и потом бросился из комнаты. Веринька опомнилась, как будто вышла из какого-то состояния бесчувствия; она не замечала меня и кинулась к дверям.

— Аркадий! — вскричала она. Аркадий бежал уже по улице.

— Аркадий! — громко произнесла она и с выражением нестерпимой горести протянула руки вслед за ним, к окошку. — Аркадий!

Голос ее выражал отчаяние. Тогда только

заметила она меня, покраснела, слезы ее вдруг исчезли. Это была обыкновенная, благо-разумная Веринька.

— Сударыня, — сказал я, приближаясь к ней, — вы знаете меня: я люблю Аркадия, как брата; я пришел с ним, боясь, чтобы отчаяние не довело его до какой-нибудь безрассудности. Сядьте и выслушайте меня.

Веринька машинально села на диван и закрыла глаза платком, взмокнувшим от слез ее.

— Сударыня, — сказал я, — не скрывайтесь от меня; говорите со мною, как с отцом своим. Мои лета дают мне на это право. Вы любите Аркадия? Будьте откровенны.

— Более жизни моей люблю его! — сказала Веринька, рыдая и прижимая руки к груди своей.

— Что же разлучает вас? Если согласие вашего папеньки должно купить улучшением состояния Аркадия, я готов поделиться с ним. У меня большое имение, я одинок. Скажите одно слово, и вы будете счастливы!

— Счастлива! Никогда, никогда! Я давно уже отреклась от счастья! Одно осталось мне:

жертвовать собою для спокойствия моего отца...

— И выйти за человека, не любимого вами?

— Папеньке он нравится — я его не ненавижу — он меня любит.

— А Аркадий только вами и живет!

— И только терзает меня и всё, что его окружает!

— Неужели вы не верите любви его? Неужели вы не захотите даже пожертвовать ему собою, если и знаете его пылкий, неукротимый характер!

Веринька перестала плакать, потупила глаза и щипала кончик платка своего.

— Буду с вами откровенна, человек добродетельный! — сказала она. — У вас нет детей, но вы можете судить: не первая ли обязанность моя успокоить, утешить отца, у которого я одна, единственное его утешение, единственная его отрада? Этим ли пожертвую я безрассудной страсти моей — безрассудной! Чувствую, как дорог мне Аркадий, но ужасюсь любви его, трепещу ее! Мы не понимаем друг друга; и не знаю — может ли даже кто-

нибудь понять это сумасшествие, это безумие, с каким любит Аркадий! Я не в состоянии осчастливить его. Он видит теперь во мне что-то неземное. Изменения его характера ужасны. Уверена, что он так же потом легко возненавидит меня, как теперь безумно обожает! Не говорю о счастье: такое неукротимое бешенство чуждо его! Но Аркадий будет со мною несчастлив, и я должна отдать руку свою другому, чтобы спасти от горести моего доброго отца... чтобы спасти его самого — ах! нет! спасти самое себя... Его любовь могла бы, наконец, и меня довести до безумия... И без того, сколько раз я была от нее на краю бездны...

Веринька опять начала плакать.

— Подумали ль вы о том, какую участь приготовляете себе?..

— Смерть, может быть... Что же тут ужасного? Не я буду виновата, если не переживу.

— Нет! не смерть, но жизнь в объятиях человека вами нелюбимого, в ужасающей стуже приличий и обязанностей, нарушение коих будет для вас преступлением. И как же? С любовью, с пламенем, который будет сожи-

гать вашу грудь.

— Пощадите меня!

— Будет ли счастлив этим ваш отец? — Вы молчите? А если Аркадий не перенесет своего бедствия? Если могила его будет укорять вас, что вы погубили в нем человека великого, надежду отечества, сердце, каких немного на земле, душу высокую, пламенную, которая любила вас — как не любят уже в наше время...

Веринька плакала и не отвечала ничего.

— Говорите, сударыня! — повторял я.

Она молчала; глаза ее были неподвижно устремлены на золотое колечко, бывшее у нее на правой руке.

— Зачем еще не вчера пришли вы... — прошептала она.

— Неужели вы боитесь разорвать ваше обязательство? Неужели приличия страшат вас?

— Это невозможно! — сказала она.

Душа моя отворотилась от нее. "Так-то всегда любите вы, женщины!" — думал я. И сердце мое облилось кровью. Я вспомнил свои страдания. Так-то некогда растерзали меня...

Мне показалось, что я вижу в Вериньке оживленный эгоизм женщин нашего времени.

Теперь, когда после этого прошло много времени, размышляя обо всем, я уже не обвиняю ее. Кто не содрогнулся бы, в самом деле, души и любви Аркадия, кто из вас, женщины? Может быть, в минуту забывчивости некоторые из вас предали бы такой любви, но — только забывшись! Вы все Вериньки! Должно ли обвинять вас? Сохрани бог! Вы правы. Говорят, что девушек должно приучать к хозяйству. Жаль, что, приучаясь к нему, они нередко видят хозяйственные распоряжения в самых высоких вдохновениях души...

Я застал Аркадия на его квартире. Он был мрачен, но спокоен и встретил меня следующими словами:

— Почтенный друг мой! можете ли вы оказать мне последнюю услугу!

— Последнюю, Аркадий?

— Решено: я немедленно еду за границу! Вот, посмотрите: я рассматривал сейчас карту Европы. Завтра же оставлю я Петербург, и, по-

ка получу паспорт, пока соберется мой Семен Иваныч, я буду жить в Ревеле. Туда приедет он ко мне, и тотчас отправимся мы в Дрезден, оттуда в Швейцарию, оттуда в Италию... Прости отечество, прости все — я никогда уже не возвращусь сюда, никогда! Не возражайте, почтенный друг! Не ручаюсь ни за жизнь, ни за что, если останусь еще одни сутки в Петербурге... Ни за что не ручаюсь... — повторил Аркадий. Он страшно сжал кулаки и заскрежетал зубами.—й-арезирать ее не могу, и возненавидеть ее не умею! — воскликнул он.

— Аркадий, — сказался, стараясь перебить его мысли, — это прекрасно вздумано. Что же тебе надобно?

— Гадости, без которой ничего нельзя сделать на свете, — денег! У меня есть тысячи с полторы. Примите на себя труд, почтенный друг мой, продать мои картины. Может быть, кто-нибудь купит их, хоть для пандана. Семен Иваныч продаст мебели и прочую дрянь. Ссудите меня деньгами, с тем чтобы получить уплату из продажи моих картин и вещей, и — простите, простите, друг незабвенный!

Мы обнялись. Надобно ли сказывать ответ

мой на требование Аркадия? Почти всю ночь просидели мы вместе и проговорили. О Вериньке не было ни слова. Иногда Аркадий вдруг останавливался, думал, с трудом сообщая, о чем мы говорим... На другой день я проводил Аркадия по Нарвской дороге. Разумеется, что картины его оставил я у себя и что цена их далеко превосходила небольшую сумму, которою я ссудил его. Остальную сумму, по его желанию, переслал я к его отцу. Через две недели и Семен Иваныч простился со мною. Он знал, что уже ему не воротиться в Россию, но не хотел оставить Аркадия. Долго, со слезами, молился старик в Казанском соборе и говорил:

— Матушка казанская богородица! благовослови только и утешь моего барина. Ничего более не молю!

Увы! молитва доброго старика не была услышана!

* * *

Вы хотите знать окончание моей повести об Аркадии? Память незабвенного друга мне так драгоценна, что я доскажу вам о нем.

Я сам думал, что время, путешествие,

страсть к искусству, слава, может быть, рассеют горечь и отчаяние Аркадия. Но время ничто, если прошедшее убито у человека навсегда, а настоящее погубило всю его будущность. Путешествие хорошо для души, жадной впечатлений, юной, свежей или уже отстрадавшей, утомленной, требующей просто отдыха. Ни то ни другое не было уделом Аркадия. Горячая кровь текла у него из сердца, разорванного бешеною страстью. Ужасная одинокость в настоящем, пустыня жизни впереди — и что тогда значит страсть к искусству? А слава? И в наше время! Этот мячик, перебрасываемый от одного к другому бестолковою толпою... Кто может жить только с нею! И что такое вообще слава? Определили ли вы ее?

Расставшись с Аркадием, я вскоре уехал в свой город и жил там по-прежнему, как теперь живу. Но речь не обо мне. С Аркадием вели мы постоянную переписку. Часто получал я письма Аркадия. Он описывал мне свои впечатления, свои занятия. Так прошло три года. Письма его стали приходить реже, хотя так же были дружественны, так же обширны.

Наконец прошел целый год, и я вовсе не получал от него писем. Я знал, что Аркадий, объехав большую часть Италии и Сицилию, наконец поселился в Риме, что он посвятил себя совершенно живописи. Имя его скоро стало известно между тамошними художниками. Желал бы я сообщить читателям некоторые из писем Аркадия. Как созревал его ум в страданиях! Как светлела более и более душа его! Но никогда, ни слова не писал он ни о любви своей, ни о прошедшем — ничего не упоминал и о состоянии своего здоровья. "Что сказать вам, добрый друг, на вопрос ваш о моем здоровье? — писал однажды Аркадий. — Тот здоров, кто счастлив. Больной душе не навеют здоровья лимонные рощи Италии, не согреет ее итальянское солнце..." Письма к отцу Аркадия шли через меня. Аркадий был в них нежным, почтительным сыном и радовал старика от времени до времени надеждою возврата в отчизну. Я пересказывал старику о славе, какую приобретал сын его. Старик не понимал этого, но радовался, как ребенок. Часто приходил он ко мне — поглядеть на картинку своего Аркадия: так он называл карти-

ны, доставшиеся мне в Петербурге. Часто изъявлял он желание иметь себе особенную картинку его и писал об этом к Аркадию. Аркадий обещал прислать.

Когда я начинал уже сильно беспокоиться о том, почему так долго не получаю известий о моем друге, писал уже к нему неоднократно и не получал ответа, мне сказали в одно утро, что меня спрашивает какой-то иностранец. Это был итальянский живописец, странствующий торгаш картинами.

Полуфранцузским языком он изъяснил мне, что едет из Одессы в Москву и Петербург и везет на продажу множество египетских древностей, этрусских ваз, разных картин и статуй. Потом он вручил мне письмо Аркадия.

— Вы его знали в Италии? — спросил я нетерпеливо.

— Знал ли я его, синьор? Он спас мне жизнь в Террачинских горах, и я не имел бы чести говорить с вами теперь, если бы не синьор Аркадио защитил меня.

— Здоров ли он? Где он?

— Как, синьор? Неужели вы не знаете!

— Что такое?

— Он умер, синьор, умер этот необыкновенный молодой человек, *di molto ingegno, di grandissimo ingegno!* [18]

— Но как же у вас письмо его? — спросил я, будто громом пораженный.

— Ах, синьор! Я оставил его совсем больно-го. Надеялись, однако ж, что он еще проживет лето; но в Триесте я получил известие о смерти Аркадия. Впрочем, нельзя было без слез смотреть на него, когда он прощался со мною. Он был так худ, так бледен; и при всем этом он соблюдал удивительное присутствие духа и смеялся, прощаясь со мною до свидания за гробом! Он всегда был печален, мрачен; ничто не могло развеселить его, хотя никто не знал, что такое его сокрушало. *Vi sono certi punti che non sembrano mai abbastanza sviluppati e schiariti* [19].

Я развернул письмо Аркадия. Оно состояло из немногих строк, писанных уже слабою рукою. Аркадий просил простить его, что он скрывал от меня бедственное состояние своего здоровья. "Не жалейте обо мне, — писал он, — вспомните обо мне иногда, но не жа-

лейте — жизнь моя давно не принадлежала уже здешнему миру. Никакого друга не встретил бы я так весело, как эту костлявую гостью, которая сильно стучится ко мне в двери". Он рекомендовал мне итальянского живописца, своего приятеля, как доброго, честного человека и писал, что с ним посылает свою последнюю картину. "Рассчитываю по времени, что он придет к вам около именин моего отца. Если будет так, то передайте моему старику эту картину в самый день его именин. Он давно просил меня прислать ему картину. Он порадуетя и благословит меня заочно. Не говорите ему, однако ж, ничего о моей болезни и о смерти моей, если до того времени о ней узнаете. Зачем отравлять немногие дни, оставшиеся моему доброму отцу! Он любил меня. — Я перевел двадцать тысяч франков на дом Б** и компании в Санкт-Петербурге. Это осталось у меня от издержек. Здесь осыпали бы меня деньгами, если бы я хотел. На что их мне? Отец стар; братья проживут без меня. Себе оставил я сколько надобно на простые похороны. Получите упомянутую сумму" и вручите ее отцу моему. Семену Ива-

нычу (не забудьте его! Добрый старик лишается со мною последней своей радости!) поручу я, после смерти моей, привезти в Россию несколько рисунков и вещей для вас — на память обо мне. Воспоминание о моем благодетеле и о вас уношу с собою во гроб; и с вами еще... но зачем вспоминать о том, что отвергло меня так жестоко, растерзало меня так свирепо... Говорят, что она счастлива. Боже! при гробе нет уже страстей — я желаю ей счастья — молюсь о ней... и о нем, если он осчастливил ее собою, молюсь, как ни тяжело мне, — а это очень тяжело, почтенный друг мой..."

Долго плакал я над этим письмом. Как нарочно будто на другой день были именины отца Аркадиева.

— Где картина, присланная с вами Аркадием? — спросил я итальянца.

— На моей квартире, синьор,

— Выберите раму у меня, — сказал я ему, — вставьте в нее картину и приготовьте к утру завтрашнего дня.

Рама нашлась по мерке: мы ее сняли с "Прометей"... Синьор взял раму. На другой

день, свято исполняя волю моего друга, я предварительно узнал, когда старик Иван Перфильевич уйдет к обедне, и явился к нему в это время. Братья Аркадия приняли меня весьма вежливо. Я сказал им о присылке картины. Вскоре привезли и картину. Она была огромна и в маленьком домике старика, в своей золотой раме, казалась чем-то необыкновенно великолепным. Вся она была закрыта полотном. Мы поставили ее в зале, где она заняла целую половину стены. У меня не доставало еще духа раскрыть ее. Слух о картине, присланной от Аркадия Ивановича, разнесся уже по соседству. Множество народа сошлось смотреть.

Я сел у окна, ожидая старика, и грустно смотрел на все, меня окружавшее. Я был в том доме, где родился, между теми людьми, с которыми провел свое малолетство Аркадий. И дом, и люди были те же, какими были они за двадцать пять, за тридцать лет, — ничто не переменилось в них: они только устарели физически — они, то есть и дом, и люди эти. Они были спокойны, веселы, самодовольны — эти братья Аркадия, соседи, родственники, при-

шедшие поздравлять старика. А он? А этот Аркадий? Он уже прогорел метеором по небосклону, ярким метеором, — он, единственный человек из этой толпы народа...

Обедня кончилась. Старик пришел домой. Все встали, встретили его, поздравляли. Он увидел меня, тотчас поплелся ко мне, взял меня за руку и с радостью спросил:

— Видно, письмецо от друга моего Аркадия? Сын ты мой милый! Может быть, в последний уже раз привел меня господь праздновать на старости день моих именин, и ты радуешь меня в этот день письмом своим!

— Письма нет, — отвечал я, — но Аркадий прислал вам в подарок картину своей работы и просил меня вручить ее вам в день именин ваших.

— Картина от моего Аркадия, — завопил старик, — прислана мне! Где, где она? Дети! картина от моего Аркадия!

— Она в зале, дедушка! — закричали внучата, дети братьев Аркадия, прыгая вокруг своего деда.

Старик спешил туда. Мы раскрыли картину: она стояла теперь во всем великолепии,

освещенная утренними лучами солнца. Старик, с толпою родни, соседей, с братьями Аркадия, вошел в залу: домашние все уже сбежались туда. Множество голов зрителей видно было даже в окошках.

Тут, на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей. Лицо его было божественно, исполнено любви и благодати. Он изображен был сидящим; несколько детей беспечно, смело, безбоязненно окружали его, смотрели на него; только один из них, устремив глаза свои на Спасителя, задумался и облокотился локтем на его колено. Вознося благословляющую руку над головою сего дитяти, другую обращал Спаситель к двум ученикам своим и, казалось, говорил им: "Не возбраняйте детям приходить ко мне; для таких предназначил я царство небесное; только будучи невинен душою, как младенец, будешь со мною во славе отца моего на небесах!" В стороне, отворотясь от детей, стоял какой-то человек. Его бледное лицо, его всклоченные волосы, морщины, прорезанные пылкими страстями на лице его, показывали, что это был не простой пастырь галилейский, но страда-

лец, много испытавший, прошедший, бурную жизнь. Казалось, этот человек слышал в словах Спасителя решение загадки, мучившей его всю жизнь; казалось, он хотел бы погрузиться в прежнее невинное младенчество... Он возводил к небесам взор надежды и страха.

Старик упал на колени перед этою картиною, восклицая:

— О, мой милый Аркадий! осыпал меня! Да благословит тебя господь, как благословляет он этого младенца!

Мы подняли старика. Он велел поставить себе стул против картины, рыдал; слезы радости текли по его щекам. Каждому, кто подходил, кто приходил вновь, он указывал на картину и мог проговорить только одно:

— Аркадий, Аркадий прислал!

Когда я сказал, что Аркадий прислал еще ему около двадцати тысяч рублей, которые успел он скопить во время пребывания своего в Италии, это почти не произвело в нем перемены; но тогда других надобно было видеть. Братья Аркадия принялись хвалить его...

Разумеется, никто из зрителей не мог су-

дить о высоком искусстве Аркадия, которое доказывала эта картина, но тем не менее все были приведены в восторг его работою. Превосходное было это произведение! Какое дарование! Сколько души! Что могло б быть из этого человека! — Увы! эта последняя картина Аркадия растерзала меня, когда я всмотрелся в нее более: в лице малютки благословляемого Спасителем, я узнал черты Вериньки, возведенные к идеалу невинности первых лет детского возраста, а этот измученный страстями пастух — это был сам Аркадий! Итак, мысль о тебе-женщина! — преследовала его и на краю гроба! И такой любви ты не поняла, не оценила! Меня даже успокоивало теперь помышление, что Аркадий уже не существует, что он уже перестал жить, то есть перестал страдать. Но видеть восторг, производимый его картиною, слышать благословения отца, произносимые ему, воображать, что, может быть, многие, смотря на его картину, думают: "Как счастлив этот художник! Как услаждает его слава!" — соображать и думать все это было мне тяжело, грустно, больно... Вся жизнь Аркадия сливалась для меня в этой

картине... Только слезы облегчили сердце мое...

Несколько дней сряду к старику приходили смотреть картину. Сам губернатор приезжал к нему. За нее давали ему очень дорого. Но он не уступал ни за что и говорил, что, умирая, велит поставить ее против себя и будет благословлять милого сына своего и желать ему счастья и здоровья! — Увы! в целом городе только я один знал, что Аркадия уже нет на свете...

*Над миртами Италии пре-
красной
Он тихо спит, и дружеский ре-
зец
Не начертал над русскою мо-
гилой
Слов нескольких на языке род-
ном,
Чтоб некогда нашел привет
унылый
Сын Севера, бродя в краю чу-
жом...*

* * *

На другой год мне опять привелось ехать в Петербург по делам. На меня навязалась тяжба. Мне надобно было выправиться о моем деле по министерству юстиции, и знакомые дали мне письма к одному значительному чиновнику. Имя его показалось мне знакомо, только я никак не мог вспомнить, где я знал его? Осведомившись, что могу застать этого чиновника по четвергам, вечером, являюсь к нему и нахожу довольно много гостей. Хозяин был в своем кабинете с кем-то. Меня просили войти в залу. Тут нашел я несколько столов с вистом и бостоном. Дамы сидели на диване. Хозяйка сидела тут же и весело разговаривала с ними, ее окружали трое или четверо милых, опрятно одетых детей. Она была еще молодая женщина, одетая по-домашнему, щегольски, и ловко встала, чтобы принять меня. Тогда я узнал ее: это была Веринька! Я остолбенел и искал в лице ее, полном, здоровом, спокойном, искал в этой чиновнице, даме, с чепчиком на голове, в модном шлафроке, окруженной детьми и гостями, идеала моего друга Аркадия.

— Боже мой! Г-н Мамаев, вы ли это? — ска-

зала мне Вера Парфентьевна. — Садитесь, пожалуйста, садитесь. Давно ли вы в Петербурге?

Мы начали говорить — о погоде, о новостях. Она вспомнила меня. И ничего более не вспомнила?.. Не знаю. Тут вошел сам хозяин. Из долговязого молодого человека, одетого в щегольской фрак, он сделался теперь плотным чиновником, в вицмундире, с крестом на шее, с другим в петлице и с пряжкой за пятнадцатилетнюю беспорочную службу. Он принял меня вежливо, обещал все сделать. Жена его, очень равнодушно, сказала ему, что некогда я был знаком с ее отцом, что я старый приятель их дома. Муж просил меня после этого посещать их, предлагал мне немедленно партию в вист. Я отказался от виста и не приходил к ним более. В департаменте сказывали мне, что муж Вериньки отличный чиновник и со временем может надеяться многого, что он притом весьма счастлив в семействе, что жена у него премилая женщина, добрая мать детям и большая хозяйка. Я видел после того еще раз Вериньку в театре. Она сидела в ложе с мужем и детьми. Не один лорнет был наводим из кресел на эту ложу; не

Один молодой человек говорил другому: "Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!"

1833

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание сочинений Н. А. Полевого вошли наиболее характерные и известные повести писателя, а также его письма. Некоторые из ныне публикуемых художественных произведений Полевого уже знакомы современному читателю (см.: Рассказы русского солдата. — В сб.: Русские повести XIX века 20-30-х годов. — М.; Л., 1950. — Т. 2. — С. 3–58; Блаженство безумия. — В сб.: Русская романтическая повесть: Первая треть XIX века. — М., 1983. — С. 301–336), другие впервые перепечатываются после долгого перерыва. Тексты повестей и писем расположены в хронологическом порядке. Сборник "Мечты и жизнь" включается полностью с сохранением авторской композиции.

Для настоящего издания тексты проверены по всем имеющимся рукописным (письма) или печатным источникам. Повести печатаются в последних редакциях. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, за исключением случаев, когда отклонения имеют экспрессив-

но-смысловой характер либо передают колорит эпохи, особенности произношения самого Полевого (например, "азиятское", "воксал", "вороты", "вынял", "скрыпка", "тма"). Сохранены также особенности пунктуации, имеющие интонационное значение.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ СОКРАЩЕНИЙ

БдЧ — "Библиотека для чтения"

ВЕ — "Вестник Европы"

Записки — Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого. — СПб., 1888.

Известия — Известия по русскому языку и словесности. 1929. — Т. 2, кн. I. — Л., 1929.

МТ — "Московский телеграф"

ОЗ — "Отечественные записки"

РА — "Русский архив"

РВ — "Русский вестник"

РС — "Русская старина"

СО — "Сын отечества"

СПч — "Северная пчела"

Живописец. Впервые: МТ.- 1833. — Т. 51. — С. 74-131, 239-294, 396-448, 534-593. В конце текста инициалы автора "Н. П." и дата окончания — 10

июня 1833 г. С отдельными мелкими изменениями и добавлением эпиграфов перепечатана в сборнике "Мечты и жизнь" (М., 1834. — Ч. 2. — С. 5–384). Публикуется по этому изданию. Общий эпиграф к повести — из драмы Гете "Торквато Тассо" (1789), (д. 3, явл. 5), посвященной итальянскому поэту, трагическая судьба которого привлекала писателей (особенно романтиков). По словам самого Гете, в центре его произведения — "диспропорция между талантом и жизнью".

С. 165. Я жизни сей не раб презренный... — Источник цитаты не обнаружен. Вельтман Александр Фомич (1800–1870) — поэт, прозаик, сотрудник МТ.

Безбородко Александр Андреевич (1747–1799) — русский государственный деятель, с 1775 г. — секретарь Екатерины II, с 1783 г. — фактический руководитель русской внешней политики, с 1797 г. — канцлер.

С. 166. Коллежский секретарь — гражданский чин девятого класса.

С. 169...определил его в Главное училище живописи. — При публикации в МТ это место

сопровождалось следующим примечанием автора: "Надобно ли сказывать здесь читателям, что, поелику вся сия повесть есть сказка, выдумка, то и все, что говорит в ней сочинитель, г-н Мамаев, об учении и училищах, есть выдумка или сущий вздор. Следовательно, его слов ни к какому петербургскому училищу относить не должно. Примечание для людей, любящих примечания" (МТ.- 1833. — Т. 51. — С 82).

С. 172. Ингерманландия — одно из названий территории по берегам Невы и юго-западному Приладожью.

Пальмира — древний город на северо-востоке Сирии, славился своим великолепием. Северная Пальмира — образное название Петербурга.

С. 174. Каналетти (Каналетто) Джованни Антонио (1697–1768) — итальянский живописец, писал преимущественно венецианские виды.

"Пантеон иностранной словесности" — журнал Н. М. Карамзина, издан в 1798 г., переиздание 1818 г.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) —

французский естествоиспытатель.

С. 175. Лосенка Антон Павлович (1737–1773) — русский живописец и рисовальщик, представитель классицизма.

С. 176. Гранет (Гране) Франсуа Мариус (1775–1849) — французский художник, в 1821 г. преподнес в дар императору Александру I свою картину "Внутренность монастыря капуцинов в Риме".

С. 179. Мюллер Фридрих (1749–1825) — немецкий поэт, художник и гравер.

...жоаннотовских уродов... — Вероятно, имеются в виду работы французского художника романтического направления Тони Жоанно (1803–1852).

...гогартовских карикатур. — Речь идет о сатирических произведениях английского живописца и графика Уильяма Хогарта (1697–1764).

...иной бывает героем романа Поль-де-Коква... — Для популярных в свое время романов французского писателя Поля Шарля де Кока (1793–1871) характерны запутанная интрига, комические похождения героев-повес, пикантные подробности быта.

...иной лафонтеповского... — см. примеч. к с. 144.

...иной дюканжеповского... — Французский драматург и романист Виктор Дюканж (1783–1833) был наиболее известен своей мелодрамой "Тридцать лет, или Жизнь игрока" (1827).

...иной жаненоповского... — Речь идет о французском писателе и критике Жюле Габриеле Жанене (1804–1874), представителе так называемой "неистовой словесности"; его первые романы горячо обсуждались в русской печати начала 1830-х гг.

...начал читать Гофманова "Кота Мура". — Центральным героем романа Гофмана "Жизненные воззрения кота Мурра" (1820–1822) является музыкант Иоганнес Крейслер.

С. 180. Норд-Кап (Нордкап) — гористый мыс на норвежском острове Магерё; порой рассматривался как самый северный пункт Европы.

...не походил на Мальвин и Миньон... — См. примеч. к с. 144 и к с. 104.

С. 182...философы не ходят уже в изодраных лоскутках какого-нибудь цинического

плаща. — Речь идет о представителях древнегреческой философской школы киников (циников). Выдвинув идеал духовной свободы, они с пренебрежением относились к жизненным удобствам.

С. 184...а вторую еще дописывает Виктор Гюго. — В Викторе Гюго (1802–1885) Полевой видел "полное и совершенное изображение французского романтизма".

Прокрустово ложе — в греч. мифологии ложе, на которое великан Прокруст насильно укладывал путников, обрубая ноги тем, кому оно было коротко, и вытягивая тех, кому оно было велико.

С. 191. Капитолий — один из семи римских холмов, где в древности находились крепость и храм; место торжественных церемоний.

Грёз Жан Батист (1725–1805) — французский живописец-сентименталист.

Гольбейн (Хольбейн) Ханс Младший (1497 или 1498–1543) — немецкий художник.

С. 193. Кранах Лукас Старший (1472–1553) — немецкий живописец и график.

Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, живописец, архитек-

тор, поэт.

Да он поэт? — Из драмы Нестора Васильевича Кукольника (1809–1868) "Торквато Тассо" (СПб., 1833. — С. 96–97).

Галль Франц Иозеф (1758–1828) — австрийский врач, создатель френологии — антинаучного учения о соотношении между психическими особенностями человека и формой его черепа.

Шпурцгейм Каспар (1776–1832) — один из первых сторонников френологии.

С. 195...Корреджио, идущего с мешком медных денег на плече... — Согласно некоторым биографическим сведениям, итальянский живописец Антонио Корреджио (Корреджо, ок. 1489–1534) был крайне беден.

...жадное корыстолюбие Паганини... — Итальянский скрипач и композитор Николо Паганини (1782–1840) концертами составил значительное состояние.

...крал орехи у судьи Шаллова... — Согласно некоторым биографическим сведениям, Шекспир занимался в молодости браконьерством в лесу сэра Люси, выведенного им позднее в комедии "Виндзорские насмешницы"

под именем судьи Шеллоу.

...когда стоял с ружьем на карауле... — Гаврила Романович Державин (1743–1816), начав в 1762 г. службу солдатом Преображенского полка, получил офицерский чин лишь через десять лет.

С. 197. "Начальное руководство". — Речь идет о кн.: Штой И. З. Начальное руководство к наставлению юношества, или Первые понятия о вещах всякого роду... — М., 1793. — Ч. 1 — 4.

С. 201. Алимпий (Алипий, ум. 1114) — русский живописец, создатель мозаики Успенского собора в Киево-Печерской лавре.

Рублев Андрей (ок. 1360-70 — ок. 1430) — крупнейший мастер московской школы живописи.

С. 202. Мы застали нашего Альбрехта Дюрера... — Чрезвычайно высокая оценка творчества Дюрера была характерна для немецких романтиков. Впервые она прозвучала в книге В. Г. Вакенродера "Сердечные излияния отшельника-любителя искусств", изданной в 1797 г. Л. Тиком. Влияние этой работы отчетливо прослеживается в "Живописце". Своего

рода эквивалентом высокого одухотворенного искусства старонемецких мастеров и становится у Полевого русское иконописание.

...Петра, митрополита всероссийского! — Речь идет о митрополите "всея Руси" Петре (ум. 1326), занимавшемся иконописанием.

В "Стоглавном уложении" сказано... — Имеется в виду сборник решений Стоглавого собора 1551 г., регулирующий внутреннюю жизнь русского духовенства и его отношения с обществом.

С. 203...это нижняя ступень лестницы, виденной святым Иаковом... — Имеется в виду один из фрагментов библии.

С. 208. Доменикино (1581–1641) — итальянский живописец.

..."Оссиан" Жироде... — Подразумевается картина французского художника Анн Луи Жироде-Триазон (1767–1824) "Тени французских генералов, встречаемые в Елисейских полях Оссианом".

Фридрих Каспар Давид (1774–1840) — немецкий живописец, представитель раннего романтизма.

С. 212. "Левана" — написанный в духе про-

светительства и гуманизма трактат "Левана, или Учение о воспитании" (1806) немецкого писателя Жан Поля (Иоганна Пауля Фридриха Рихтера, 1763–1825).

Баттё Шарль (1713–1780) — французский эстетик-классицист.

Катремер (Катрмер) де Кенси Антуан Хризостом (1755–1849) — французский археолог и теоретик искусства.

С. 213. Шевалетная живопись — станковая живопись (от фр. *chevalet* — станок, мольберт).

С. 214. Рафаэль долго думал, как изобразить ему Пресвятую... — Легенда о видении Рафаэля, раскрывающая представления о творчестве как о совершающемся по божественному наитию процессе, была распространена среди романтиков. Можно предположить, что Полевой основывается в данном случае на книге В. Г. Вакенродера "Сердечные излияния отшельника — любителя искусств".

Оно низошло к нему, как древний Зевес к Семеле... — Согласно античному мифу, возлюбленная Зевса царица Семела упросила его предстать перед ней в божественном облике;

Зевс явился к ней, сопровождаемый громом и молнией, и Семела была убита пламенем.

С. 216. Косморама — картина, написанная и поставленная так, что при взгляде через стекло кажется живой.

С. 217. Ама­тёр — любитель.

Мурилло (Мурильо) Бартоломе Эстебан (1618–1682) — испанский живописец.

Ангелика Кауфман (1741–1807) — немецкая художница.

Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский живописец.

Караваджо (Караваджо) Микеланджело да (1573–1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления.

Тинторетто Якопо (1518–1594) — итальянский живописец.

С. 218. Ланкастерская метода — получившая распространение в 1810-20-х гг. система взаимного обучения.

...акrostихи, дистихи, мельестихи, шарaды... — разновидности стихотворений, подчиненные различным правилам, выполнение

которых представляет значительные технические трудности.

Буриме — стихотворение на заданные рифмы.

Снейдерс Франс (1579–1657) — фламандский живописец; в числе его работ имеются анималистические картины.

Поттер Паулюс (1625–1654) — голландский живописец; на его полотнах часто изображались фермы, пастбища.

С. 220...четыре стиха любимого своего поэта... — Далее цитируется драма Гете "Торквато Тассо" (д. 3, явл. 4).

С. 221. Эпиграф к третьей части повести — из романа Жана Жака Руссо (1712–1778) "Юлия, или Новая Элоиза" (1761) (часть 2, письмо XVI, от Сен-Пре к Юлии).

С. 224. Как хорошо знал подобное состояние души Байрон!.. — Далее цитируется поэма "Шильонский узник" (1816). (Прозаический перевод подстрочника по изд.: Полн. собр. соч. лорда Байрона. — СПб., 1894. — Т. 2, С. 143.)

С. 225. Франклин Бенджамин (1706–1790) — американский просветитель, ученый, госу-

дарственный деятель.

Плерезы — траурные нашивки на платье.

С. 228. Под мягким дерном гробовым... — из стихотворения Жуковского "Подробный отчет о луне" (1820).

С. 229...наш милый поэт... — вероятно, А. С. Пушкин.

Мирмидоны — племя, возникшее после того, как Зевс превратил муравьев в людей.

Омфала — в греч. мифологии лидийская царица, у которой Геркулес (Геракл) провел в услужении три года.

...трепещущие их львиной кожи! — Первым из подвигов Геракла стал бой с немейским львом, шкура которого была неуязвима.

С. 231. Как быть! а всем одно! всех на пути... — из идиллии Иоганна Петера Хеббеля (Гебеля) (1760–1826), переведенной Жуковским под названием "Деревенский сторож в полночь" (1816).

С. 233. Синель — шнурок с бархатистым ворсом.

С. 237. Рафаил — в послебиблейской мифологии ангел-целитель, посланный на землю, чтобы исцелить Товита и невесту его сына То-

вии.

Кикимора — по русским поверьям, род домового...из грязи Понтинской? — Имеются в виду Понтийские (Понтинские) болота близ Рима.

С. 239. Горацій — Квинт Горацій Флакк (65 до н. э.—8 до н. э.), римский поэт; в его произведениях часто встречаются философские рассуждения и наставления.

Епанча — старинная верхняя одежда, широкий плащ.

С. 243. To die, to sleep! — "Гамлет" (д. 3, явл. I).

С. 244. 17-е сентября! — день именин Веры.

С. 246. Сталь Анна Луиза Жермена де (1766–1817) — французская писательница; ниже речь идет о ее романе "Коринна, или Италия" (1807).

Каталани — см. примеч. к с. 105.

С. 247. Ты любишь тяжело и трудно... — неточно цитированные строки из поэмы Пушкина "Цыганы" (1824, издана 1827), при публикации "Живописца" в МТ являлась эпиграфом ко всей повести.

С. 251. "Письмовник" — многократно из-

дававшаяся книга Н. Г. Курганова (1725–1796), содержащая в себе сведения по грамматике, переводы и переделки анекдотов, раздел стихотворений и пр.

С. 256. Кронеберг Иван Яковлевич (1788–1838) — русский эстетик и переводчик, сторонник романтизма.

С. 258. Эсхил <...> в своей чудной трагедии... — Подразумевается "Прометей прикованный".

...так хорошо выразил Байрон... — в стихотворении "Прометей" (1816).

С. 259. Океан — в греч. мифологии бог, сын Урана — неба и Геи — земли.

Эфест (Гефест) — бог огня, покровитель кузнечного дела; из его кузницы похитил огонь титан Прометей, за что был прикован к скале. Греки представляли Гефеста могучим, но некрасивым.

...оживотворителя людей... — По одному из вариантов мифа, Прометей вылепил из земли первого человека и дал ему жизнь.

Вернер Цахариас (1768–1823) — немецкий драматург, зачинатель жанра романтической "трагедии рока" в немецкой литературе.

С. 262. "Вот наши строгие ценители и судьи!" — "Горе от ума" (д. 2, явл. 4).

Смешон, участия кто требует у света! — из стихотворения Пушкина "Ответ анониму" (1830).

С. 263. Пандан — вещь под парю, под масть.
Давид Жак Луи (1748–1825) — французский живописец.

С. 274...на картине, изображен был Спаситель, благословляющий детей. — Описание картины навеяно, очевидно, фрагментом Вакенро-дера "О детских фигурах на картинах Рафаэля".

С. 275. Под миртами Италии прекрасной... — из стихотворения Пушкина "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор...", 1825).

С. 276. "Прелестная женщина! и с каким вкусом одета!" — Заключительные строки "Живописца" представляют собой реминисценцию из "Золотого горшка" Гофмана (вигилия одиннадцатая).

Примечания

Его давно я знаю.
Он слишком горд, чтобы
скрываться. Вдруг
В себя он погружается, как
будто
Весь мир в его груди, он тонет
в нем,
Не видя ничего вокруг себя.
Тогда он все отталкивает
прочь,
Покоится в самом себе и вдруг
Он бурно извергает радость,
скорбь,
Причуду, гнев. Он хочет все
схватить,
Все удержать, тогда должно
случиться
Все, что сейчас пришло ему на
ум.
В единый миг должно произой-
ти,
Что медленно готовится го-
дами.
В единый миг он хочет разре-
шить
То, что во много лет неразре-

шимо.

*От самого себя и от других
Он требует того, что невоз-
можно.*

*Желает он пределы всех вещей
Схватить за раз, а это удает-
ся*

*Едва ль из миллионов одному,
Он не из тех, и должен нако-
нец*

*Уйти в себя, не став нисколь-
ко лучше.*

Пер. С. Соловьева

[^^^]

на детский манер (фр.).

[^^^]

поэт-победитель (лат.).

[^^^]

4

*Едва ли будешь ты
Завидовать сиянью золотому
Вкруг мученика голой головы.
И знай, что так же лавровый
венок —*

*Скорее знак страдания, чем
счастья.*

Пер. С. Соловьева

[^^^]

Да, моя нежная подруга, невзирая на разлуку, утраты, тревоги, даже на отчаяние, само все- сильное влечение двух сердец приносит нам сокровенную отраду, недоступную безмятеж- ным душам. Обретать радость в самом страда- нии — это и есть одно из чудес любви, и нам показалось бы злейшею бедою, если бы без- различие и забвение лишили нас способно- сти чувствовать наше горе.

Пер. И. Немчиновой и А. Худадовой

[^^^]

6

...пространство, наполненное пустотой; прикреплённость без определенного места... безмолвие и неподвижность воздуха, не говорившие ни о жизни, ни о смерти; стоячее море бездействия, слепое, безбрежное, безмолвное и неподвижное!.. (англ.)

[^^^]

мой добрый друг! (фр.).

[^^^]

8

Умереть, уснуть! (англ.).

[^^^]

точка зрения (фр.).

[^^^]

10

распределение света и теней (фр.).

[^^^]

Это прелестно! (фр.).

[^^^]

Но, генерал!.. (фр.).

[^^^]

Добрый день! (фр.).

[^^^]

Ученая женщина. Фи! какая гнусность! (фр.).

[^^^]

Очаровательно — ужас — очень хорошо (фр.).

[^^^]

какое прекрасное время! (фр.).

[^^^]

Это он (фр.).

[^^^]

большого дарования, величайшего дарования! (ит.).

[^^^]

Бывают некие обстоятельства, которые никогда не кажутся до конца выясненными или проявившимися (ит.).

[^^^]